



Нина Халикова

Желания
требуют жертв

Нина Халикова

Желания требуют жертв

«Фонд развития конфликтологии»

2017

УДК 821.16
ББК 84 (2Рос = Рус)6-44

Халикова Н. Н.

Желания требуют жертв / Н. Н. Халикова — «Фонд развития конфликтологии», 2017

ISBN 978-5-9909475-8-0

В центре нового романа Нины Халиковой – самые сильные человеческие чувства: любовь, ненависть, ревность, зависть. Прима балетной труппы Милена Соловьёва, удивительно талантливая и красивая, но при этом бездушная и эгоистичная, поглощена исключительно собой, сценой, своим успехом. Безумная любовь Платона Кантора, его страдания и ревность, как и зависть и ревность коллег, её абсолютно не волнуют. Но на генеральной репетиции Милена внезапно умирает на сцене. Её загадочная смерть настолько поразила Петра Кантора – деда Платона, что тот начинает самостоятельное расследование, итог которого не мог предугадать даже такой старый и мудрый человек.

УДК 821.16

ББК 84 (2Рос = Рус)6-44

ISBN 978-5-9909475-8-0

© Халикова Н. Н., 2017

© Фонд развития
конфликтологии, 2017

Содержание

I	6
II	9
III	13
IV	15
V	17
VI	19
VII	21
VIII	23
IX	25
X	27
XI	31
XII	33
XIII	35
XIV	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Нина Николаевна Халикова

Желания требуют жертв

Роман

© Н. Н. Халикова, 2017

© Марк Олич, 2017

© Фонд развития конфликтологии, 2017

Всё тайное рано или поздно становится явным. Или не всё?

Как бы ни бушевала разнузданная фальсификация всего, знающему ещё остаётся первозданный покой гор, спокойное сияние ранней мессы, безмолвный полёт сокола, светлое облако в огромном небе – то, в чём уже высказалась великая тишина отдаленнейшей близости Бытия.

М. Хайдеггер

I

Никто и никогда не бывает абсолютно совершенным. Разве что вымышленный идеал, или идеальный вымысел. Однако даже самый идеальный вымысел рано или поздно начинает казаться неидеальным. Поначалу мы просто им любимся, наслаждаемся его безупречной целостностью, его завершённой полнотой, не видя подвоха, но спустя какое-то время, постоянно чувствуя его довлеющее превосходство над собой, начинаем слегка раздражаться – так, буквально самую малость. Это смутно ощущаемое раздражение как раз и заставляет нас предположить, что вымышленный идеал, возможно, имеет какие-то недостатки. Тогда мы, с некоторой насмешливостью, будто не всерьёз, находим у него несущественный, незначительный изъян, но такой изъян, который приносит нам невероятное облегчение. Мы чувствуем себя гораздо лучше, гораздо свободнее, увереннее, и если нам не суждено подняться до нашего безукоризненного идеала, дорасти до него, дотянуться и быть с ним вровень, то по крайней мере опустить его до своего, более низкого, уровня мы в состоянии. И это нам почти удается...

Мысль, разумеется, спорная, но доля истины в ней всё же присутствует...

«Может быть, я её выдумал? И она лишь плод моего нездорового воображения? – рассуждал сам с собой Платон. – Да, прекрасный и недоступный вымысел, а на деле она... Она не идеальна, – думал Платон, – она совершенна лишь на первый взгляд, как скульптура Родена, но если внимательно присмотреться, то... То – так, ничего особенного». Внезапно он почувствовал острое отвращение к себе: «Вот ведь до чего дошёл!»

Недавний выпускник балетной школы, а ныне начинающий артист балета Платон Кантор во время очередной нескончаемой репетиции в театре сидел в дальнем углу балетного класса, напротив огромного арочного окна, на хорошо отполированном полу. Он был одет в плотное чёрное трико и чистую белую рубаху, которая лишь подчёркивала романтическую бледность его лица, мужского привлекательного лица, чуть тронутого оспой. Платон угрюмо смотрел на Милену Соловьёву и других порхающих в воздухе будущих Жизелей и, непременно, Аврор. Девушки пытались оттачивать чистоту каждого *pas*¹, демонстрировать единство рук, ног и корпуса, но получалось у них как-то с большой натяжкой. Им приходилось невероятно трудно, не хватало дыхания, а легкость была только видимой. Платон отлично понимал, что происходит в танце, видел каждую промашку, ведь он отучился балету почти десять лет и уже несколько лет работал в театре. И одна лишь Милена наполняла весь хореографический класс своей взрывчатой энергией, у неё одной тело отзывалось на музыку, прорезая собой пространство, только у неё на лице было написано абсолютное слияние с исполняемым образом. Платона это порядком раздражало, отчего его бледные щёки то и дело становились пунцовыми. Ну разве она, эта будущая балетная «звёздочка», способна сделать его счастливым? Какой дурацкий вопрос. У неё отлично получается делать его несчастным; впрочем, в любви так всё переплетено, в любви счастье и несчастье почти одно и то же. Он уже привык к мукам безответной любви, к их сладкой отраве, ядовитой отраве, что привязывает к себе ещё сильнее, чем радость разделённой любви. И освободиться от них, от этих мук, всё равно, что освободиться от самого себя. «А может быть, набраться храбрости и пригласить её куда-нибудь?» – мучился Платон. Да, но он совершенно не владеет искусством обхождения, и к тому же она уже несколько раз ему отказывала. Ну и что? По крайней мере она отказывает ему по-простому, без ядовитых колкостей, можно потерпеть, а то, что всё переворачивается внутри, ни ей ни другим не видно. Так что общее поругание и смех ему не грозят, а если и грозят – наплевать. Ему всё равно.

¹ Шаг (*фр.*).

Милена не обращала на Платона ровным счётом никакого внимания. Он целый год принимал неловкие попытки поухаживать за ней, но всякий раз она находила предлог для отказа, а то и просто так отказывала, без всякого предлога. А ведь Милена не похожа на тех женщин, которые пропускают мимо ушей интересные для себя предложения. Выходит, он ей совсем неинтересен. Он продолжал сидеть на полу, поочерёдно разглядывая то Милену настоящую, то Милену, отражающуюся в глубине матовых зеркал, и пытался поймать на себе её взгляд. Но, как Платон ни старался, у него ничего не получалось – взгляд Милены был невозмутим, непроницаем, и девушка будто нарочито безжалостно его не замечала. Лишь изредка она, словно невзначай, смотрела на Сержа Романовского, сидящего чуть правее Платона, как если бы она танцевала именно для него, для Сержа. Или Платону это всё показалось? Нет, не показалось, он был готов голову дать на отсечение, что не показалось, он и прежде это замечал. Милена и Серж – любовники, весь театр знает, что любовники. Ну даже если и так, то это не препятствие, Серж – нарцисс, он по уши влюблён в себя самого, и никакие женщины на свете не способны уменьшить это сильнейшее чувство. Глаза Платона ревниво сверкнули и усталились в пол. Почему Серж, а не он, чем он хуже Сержа? Дался им всем этот Серж, тоже мне – Зигфрид, мать его, выискался. Платон опустил голову и уткнулся лицом в собственную белоснежную рубаху. Он прекрасно понимал, что представляют собой любовные отношения между людьми в их среде, в их профессии, представлял, но всё равно мучился. Он чувствовал злость на себя, и на неё, и на Сержа, будь он неладен, и не одобрял всех этих своих чувств. Ему захотелось немедленно к ней прикоснуться, ощутить её запах, запах её духов или её пота, неважно. Но это было немыслимо, они никогда не танцевали в паре, а просто подойти и по-дружески обнять девушку ему не позволяло воспитание. Если в недоступности и было поначалу какое-то очарование, то сейчас кроме навязчивого желания ею обладать ничего не осталось.

Совсем скоро придёт Ася Петровская и объявит исполнителей главных партий в спектакле, а его имя в этом списке, как всегда, не прозвучит. Так что бессмысленно продолжать сидеть здесь, на полу, и попусту растравлять себя.

Платон ловко поднялся с пола и выскользнул в коридор. Он быстро шёл, подгоняемый острой нервной дрожью, по причудливым лабиринтам, увешанным нескончаемыми портретами Кшесинской, Преображенской, Егоровой, Улановой, он шёл, и сам не знал куда. Здесь он всегда себя чувствовал как рыба в воде, а теперь как будто не узнавал этих стен, и они даже казались ему враждебными. Какие-то внутренние, бесконтрольные толчки подгоняли его вперёд, в сторону гримёрок. Он и сам толком не понимал, что собирается сделать, уверенно шагая мимо различных кабинетов по потёртой ковровой дорожке. У одной из дверей Платон резко остановился, поправил растрепавшиеся волосы, воровато оглянулся, прислушался к тишине коридора и, набрав в лёгкие побольше воздуха, бесшумно вошёл.

Ему оказалось странно и неловко находиться посреди царившего хаоса женских принадлежностей. Повсюду на стульях бесцеремонно расположилось нижнее бельё, а дамские сумочки прикусывали торчащие из них внутренности, потому и не закрывались. Окно на улицу было приоткрыто, об него шуршал ветер вперемешку с осенними свежими каплями, и всё равно здесь стоял терпкий запах дешёвой женской косметики, при помощи которой местные красавицы предпринимали отчаянные попытки сделаться ещё краше.

Платон шарил глазами по всей гримёрке, по туалетным столикам, вешалкам с одеждой, разбросанным по полу туфлям, сапогам и целлофановым пакетам, в поисках её вещей. Ему хотелось прикоснуться к её одежде, подержать в руках её расчёску, ту самую, которой она расчёсывает свои короткие смоляные волосы, увидеть высокие грубые ботинки со шнурками, стягивающие её ноги. Даже вздумалось уличить её в неряшливости, ведь если бы у неё были недостатки, ему стало бы легче. Но, увы, среди всего этого гримёрного девичьего беспорядка из искусственного шёлка и сукна шерстяной костюм Милены Соловьёвой оказался скучно развешенным на спинке стула, по соседству с идеально убранным туалетным столиком, под которым

ровно отдыхали её тяжёлые, почти солдатские ботинки. На туалетном столике Милены разные женские безделушки – шпильки, помадки, невидимки, палетки с профессиональным гримом, расчёски, сеточки для волос и прочая необходимая в театре дребедень – были аккуратно расставлены в прямоугольное каре, примерно так, как выстраивались декабристы во время восстания на Сенатской площади.

Разглядывая её вещи, Платон ощутил, как его насквозь пронизало приятное возбуждение, он зачем-то взял со столика сначала помаду, снял колпачок, понюхал и поставил на место, затем взял белую пластмассовую баночку витаминов с надписью «Women's life»², покрутил в руках, быстрыми, но нервными движениями отвинтил крышку и высыпал содержимое на ладонь. Это были самые обычные бело-молочные капсулы без всякого запаха. Платон зажал их в кулаке, потряс, будто взвесил, а затем высыпал обратно в баночку и вернул на столик, на прежнее место.

В полутрансовом состоянии Платон смотрел на её вещи, пахнущие ею, своей хозяйкой, радуясь мимолётной возможности прикоснуться к её жизни, к ней самой, пусть даже таким несколько возмутительным способом, на который, как ему казалось, он имеет право. Он увидел сокровенный краешек её жизни и совсем растерялся. Он эгоистично ревновал её. Ревновал к Сержу, к сцене, к воздуху, который она вдыхает, и даже к одежде, которую она носит. Ему хотелось, чтобы она была только его, хотелось владеть ею полностью. Временами, как сейчас, становилось совсем тяжело, казалось, что он легонько трогается умом, испытывает необоримое желание сделать какую-нибудь чудовищную гадость, подлость, глупость, лишь бы не оставаться в стороне, лишь бы приблизиться к ней, лишь бы она его заметила.

Из гримёрки Платон вышел раздосадованный собственным сумасбродством. Он вполне осознавал, насколько глубоко эта молодая женщина проникла в его мозг, а он не знает, как ему к этому приспособиться. Сегодня он как-то совершенно позабыл о безопасности. Ведь если бы кто-нибудь случайно его там обнаружил, то его поведение могло быть истолковано более чем превратно. Возвращаться в репетиционный зал и вновь на неё тарашиться не было никаких сил, и он пошёл курить на улицу, хотя это было категорически запрещено строжайшими правилами внутреннего распорядка.

² Женская жизнь (англ.)

II

Ася Петровская толкнула рукой скрипучую старинную дверь и, миновав гладкий пол вестибюля, быстрым шагом направилась в сторону балетного класса по пыльной ковровой дорожке пустого коридора. «Почему этот лысый ковролин никто до сих пор не выбросит? Он приглушает любые шаги, и если кто-нибудь кого-нибудь захочет прикончить и бесшумно скрыться, у него будет такая возможность в недрах этого самого нескончаемого коридора, – рассуждала Ася. – Что за бред лезет в голову? Здесь все слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на других. Если кого и пристукнут в этом заведении, так это меня, после того как я объявлю распределение партий в „Жизели“. И произойдёт это не в глухом коридоре на облысевшем ковре, а прямо в классе, на сверкающем полу».

Ася, старший хореограф Ася Николаевна Петровская, худощавая, высокая рыжеволосая женщина с зелёными глазами и тонкими трогательными губами, пыталась отвлечь себя от какого-то странного беспокойства. Примерно год назад, одинокая и неприступная, как Троя, Ася Николаевна позволила себе более чем нелепый роман с мужчиной вдвое младше себя. В роли троянского коня выступил сын её давней подруги и сослуживицы Сони Романовской Серж. Вот с тех пор это самое неуёмное беспокойство и поселилось внутри.

«Итак, предположим, Милена начнёт репетировать Жизель, но она ещё слишком скованна, незрела для такого непростого образа, но зато она способна на свободу. Пусть пробует, – обманывала себя Ася, хотя прекрасно понимала, что из себя представляет эта девушка в профессиональном плане, и объективно оценивала блестящие способности Милены Соловьёвой. – А что делать? Другие девочки и того хуже, и знают об этом, а хотят танцевать главные партии. Дурёхи!» Ася вспоминала тяжёлые репетиции предыдущего спектакля. Тогда все тоже без удержу рвались солировать, и она не ленилась и устраивала просмотры в своё свободное время. Только что толку-то? Если в Одетте девочек ещё как-то выручала детская непосредственность, то уж Одилия у них и вовсе выходила негодная. Девчонки хорошие, но ноги у всех слишком мягкие, да и вообще они просто ещё маленькие кокетки, неспособные вскружить голову не только Принцу, но и просто какому-нибудь парнишке. Одилия – роковая женщина, а её подопечные не знают, что это такое. Глядя на настоящую *la femme fatale*³, даже самый отъявленный циник, даже самый умудрённый опытом ловелас должен сходить с ума от желания. А у девчонок ничего этого нет. Все они слишком, слишком доступны. Да и *fouetté*⁴ все боятся как огня, прямо дуреют от ужаса. Вертятся, а сами от страха свои плечики поджимают. Глупышки, просто они ещё не знают, что обольстить и удовлетворить – это совсем не одно и то же, между ними пропасть. Девчонкам это невдомёк. Они готовы через каждые несколько шагов падать в объятия очередного кавалера. А Милена Соловьёва – совсем другое дело. Пируэтов не боится, не горбится, – пожалуй, она справится. Это будет трудная победа в её жизни, но она справится.

При мысли о Милене Ася недовольно скривилась. Ася нежно любила своих воспитанниц, хоть они ей порядком надоели, но это и по сей день не осушило её преподавательскую жилу. Единственная ученица, которую Ася недолюбливала откровенно, не кривя душой, была самая одарённая из всех учениц, порядочная стерва Соловьёва Милена. Она не просто самая способная из всех, у неё особый дар тела – вырабатывать заражающую, завораживающую энергию движения. Это проглядывалось с самого первого дня, как только Ася её увидела совсем девчонкой. Работоспособность в сочетании со стервозностью Ася тоже отметила практически сразу.

³ Роковая женщина (*фр.*). Распространённый в литературе и кино образ сексапильной женщины, которая манипулирует мужчинами посредством флирта.

⁴ Фуэте (*фр.*) – вид танцевального поворота, быстрого, резкого (хореогр.).

Даже в самых простых движениях – как она тянет носок, как управляет руками – сразу становились видны её способности наполнять танец эмоциями. Для зрителя это самое главное, иначе никто не ходил бы по десять раз смотреть один и тот же спектакль. Публику, притаившуюся, замершую в темноте зала, нельзя обмануть или запутать, её нельзя заставить аплодировать, – она, эта самая публика, сама принимает решение, кем восхищаться, а кем нет, кого сухо не замечать, а кому кричать громоподобное нескончаемое «браво».

Как хореограф, Ася радовалась успехам своей подопечной, но никак не могла ей простить одного – романа с Сержем Романовским. Она, конечно же, стремилась быть максимально терпимой, но уязвимое женское сердце слишком ненадёжный союзник разуму в подобных стремлениях. Тем не менее сцена есть сцена, и её не обманешь закулисными любовными интрижками, в противном случае останется лишь посыпать голову едким женским пеплом и отправиться на пенсию.

Воздух в балетном классе был душным и раскалённым, как летний асфальт в горячий день. Большие старинные окна впускали мрачный дневной свет, которого было совершенно недостаточно, и этот недостаток, от зари до зари, восполняли элегантные потолочные лампы. Репетиция была в самом разгаре, если судить по промокшей одежде, по утомлённым, но всё ещё дружелюбным лицам. Ася вошла осторожно, как если бы боялась расшибить себе лоб в стеклянном лабиринте. Она остановилась у сверкающего чёрным лаком старого «Стейнвея» за которым наигрывала Соня Романовская. Постояв с минуту, Ася сделала рукой сдерживающий жест, немного рассеянно поглядев по сторонам. Сейчас она должна будет объявить о том, что Жизель танцует Милена Соловьёва, принца Альберта – Серж Романовский. Девушки расстроятся, но ничего не поделаешь. На мгновение Ася Николаевна внутренне сгруппировалась, предвидя, что сейчас дружелюбие слетит с прелестных девичьих лиц, а затем громким уверенным голосом сухо и ясно произнесла:

– Минуточку внимания, пожалуйста. Рабочее объявление. Жизель танцует Соловьёва, Альберта – Романовский. Относительно Мирты сообщу завтра, все остальные – виллисы. Да, влюблённый лесничий – Платон Кантор. Кстати, где он? Почему Платон не в зале? – обратилась Ася неизвестно к кому и, не дождавшись ответа, тут же продолжила: – Спасибо за внимание. На сегодня это всё. Все свободны.

Воцарилась тишина. Девушки, смотрящие в упор на Асю, растерялись лишь в первое мгновение. Их растерянность быстро сменилась хорошо читаемой досадой. Почти детские личики неприятно оживились, стали дерзкими, если не сказать враждебными. Густые, загнутые вверх ресницы едва удерживали наворачившуюся слезу по поводу очередной жизненной несправедливости. Петровская попыталась успокоить их долгим внимательным взглядом, без ненужных слов утешения. Девчонки и сами прекрасно знают, что для обиды нет ни малейшего повода, а нежелательные эмоции следует научиться обуздывать и не показывать на людях. Она, Ася, уже пятнадцать лет преподаёт, творит, шлифует, лепит, и за это время выпустила столько профессионалов, что они не вместились бы ни в один балетный класс. Так что нет у неё ни желания, ни необходимости бить себя кулаком в грудь, обосновывая свою собственную точку зрения.

Широкоплечий, смуглощёкий красавец Серж Романовский сначала сделал пустые глаза, похожие на деревянные пуговицы, а потом, благодаря гибкости своего уверенного стана, обыденно потёр подъём одной ноги о колено другой и, ни на кого не глядя, особенно на Асю или Милену, расслабленной походкой направился напрямик к двери. Двадцатитрёхлетний Серж считался прекрасным танцором, одним из лучших, сильным и изящным. С этим он не спорил, он и сам о себе был примерно такого же мнения. В его возрасте полагалось выглядеть опытным, познавшим женщин, быть несколько разочарованным в жизни, и именно так Серж и выглядел. Ещё он любил делать усталые жесты старца, бросать небрежно-скользящие взгляды,

любил напускное равнодушие, как некое оборонительное средство, но в целом был довольно простодушен и мил. В самых дверях он наткнулся на входящего Платона Кантора:

– Ты слышал новость, Тоник? Мои поздравления тебе и бедняге лесничему, – устало обронил Серж, как и положено с выражением нескрываемой скуки на лице, и размашистым шагом направился из балетного зала в темноту коридора.

Эти вполне безобидные слова Романовского почему-то больно задели Платона за живое, они показались ему слишком едкими, и он укоризненно, с ревностью посмотрел на Сержа в упор. Серж вдруг ему опротивел до невозможности, до лёгкого зубного скрежета, до того, что даже на щеке под кожей у Платона заметно заходил, заиграл желвачок. Если бы Серж сказал какую-нибудь дерзость или гнусность, Платон с удовольствием врезал бы ему по шее или по роже, там уж как придётся, но Романовский, похоже, не имел ничего против Платона, он, по всей видимости, банально спасался бегством, он был равнодушно вежлив, так что у Платона не было ни малейшей возможности прицепиться к нему. В итоге пришлось остаться ни с чем. Иногда, наблюдая за Сержем издали, Платон пытался вообразить, каким он должен быть в постели, и, представив себе его склоняющимся над Миленой, леденел от злобы и бессилия.

Платон почувствовал, как нервно под рёбрами забилося сердце. Да, досадная аллегория, теперь и на сцене он тоже будет отвергнут той же самой женщиной, что и в жизни, его чувства так же останутся незамеченными, ненужными, невостребованными, они так же, как и чувства самого Платона, будут не в счёт. Ни главные персонажи, ни сам зритель никогда всерьёз не относился к его любви, к любви бедолаги лесничего. Кто он такой, этот самый лесничий? Он слишком робок, а потому неинтересен, такие, как он, не желанная добыча для женщины. Это линия второго или даже третьего плана, а он сам персонаж второсортный, точно так же, как и в жизни, несмотря на всю его трагичность, выстраданную романтичность, покорную преданность и ещё чёрт знает что. Для зрителя что важно? Для зрителя важно, что чувствует отвергнутая непостижимая Жизель, а что приходится пережить мужчине, которого отвергла и предала эта самая трогательная, практически святая Жизель, в общем-то несущественно. Только её образ вызывает интерес, только её болезненные стоны заставляют всех содрогнуться и, не жалея себя, сострадать. Легкомысленное пренебрежение главной героини к любви другого мужчины, пусть и лесничего, ну, это же мелочь, в самом деле. Её отказ от любви лесничего вполне естествен, а когда Принц отказывается от её любви – вот это уже серьёзно, вот это оборачивается целой трагедией. Сначала предаём мы, а затем предают нас. Ничего особенного, но одним можно, а другим нельзя. Одни вызывают искреннюю симпатию, а другие – неподдельное осуждение, но бывает и того хуже – полнейшее равнодушие. Это как раз про него, про Платона, и про лесничего, будь он неладен.

А что, кстати сказать, чудесный дуэт «лесничий и принц» делают ночью на кладбище? Ну за каким чёртом они туда поперлись, порезвиться, что ли? Так могли бы и днём. А что, собственно, связывало старого князя и мать Жизель? Чего это он вдруг отправился в её лачугу? Бывшая любовь, что ли? «Уж лучше бы вообще не участвовать в этом спектакле», – с некоторой грустью подумал Платон. Не нужны ему роли второго плана, равно как и главные тоже не нужны, наплевать ему на своё собственное ничтожество в этом, без пафоса сказать не получится, бесконечном мире великого русского балета. Это всё не его, не для него, уже проверено и доказано. Да никаких особых доказательств-то и не требуется. У него есть одно единственное, одно навязчивое конкретное желание, поглотившее его целиком, и его имя – Милена Соловьёва.

...Ася Петровская так и осталась стоять у рояля, она искала глазами Сержа среди пестреющей молодёжи, но не нашла, и быстро повернулась лицом к подошедшей Милене, ожидая от неё сама не зная чего.

– Спасибо, Ася. Надеюсь... это будет... интересная работа, – Милена сухо, слишком сухо, и даже несколько наигранно, поблагодарила Асю, всем своим видом давая понять, что выбор её для главной партии столь же естествен, как завтрашний день. Она не собирается прыгать от радости. Никаких неожиданностей. Всё вполне закономерно.

Так же сдержанно, как и Милена, Ася склонила голову набок, давая понять, что все приличия соблюдены и благодарность принята. Ей показалось, что здесь и сейчас, в этом балетном классе, она столкнулась со множеством каких-то видимых и невидимых препятствий. Она даже не поняла, что ей было более неприятно в данный конкретный момент – внезапное необъяснимое исчезновение Сержа Романовского, ледяная сухость Милены, по видимому считающей свою необыкновенную одарённость неким краугольным камнем в строении классического русского балета, строением, куда она то и дело закладывала мощные фундаментальные слои равнодушного пренебрежения ко всем и к каждому, или же глупая дерзость кордебалетных девушек, помноженная на их же бесконечное тщеславие.

III

Зал быстро опустел, и как-то даже поплёк. Ася Петровская одиноко стояла посредине и пыталась понять причину своего неуёмного, надоедливого беспокойства. И ещё причину обиды. Да, было очень обидно. Ей хотелось максимально точно определить, что же всё-таки с ней не так. С каждым днём она просыпается всё раньше и раньше, а ложится спать всё позже и позже ради того, чтобы работать, чтобы заниматься не самым пустым занятием на свете. Каждый год к ней приводили глупых, слабеньких подростков, мало соображающих что к чему и вызывающих лишь смутную жалость, и она, не жалея собственных сил, заставляла их чувствовать движения, невероятными усилиями вытаскивала из их нутра спрятанные там возможности. Она учила их принципам Вагановой: не отделять душу от тела, помнить, что техника танца и его эмоции должны всегда сливаться воедино. Балерин не хвалят за то, что у них есть ноги. Конечно, без ног в балете невозможно, но балет – это не только ноги. Имена некоторых её учеников навсегда впишут в историю мирового балета. Казалось бы, что еще нужно, живи да радуйся. Что же не так? Или просто блажь, дурь?

Её мучили сомнения, правильно ли она поступила, отдав в партнёрши своему юному возлюбленному женщину, способную вызывать восхищение почти у каждого мужчины. С точки зрения женской логики она поступила совершенно неправильно, чудовищно, аморально по отношению к самой себе. Ведь больше всего на свете ей хотелось продлить собственную партию, партию возлюбленной, прежде чем перейти к исполнению последующей – партии брошенной женщины. А Милену, эту самую неотразимую Милену Соловьёву, она готова была придушить голыми руками, отравить мышьяком, цианидом, чтобы та не маячила перед глазами со своей ослепительной красотой и безусловным талантом и не отнимала бы у неё, у Аси Петровской, её личную жизнь. Как же она её достала! Возможно, это была бы самая чудовищная и неисправимая ошибка, но человеку нельзя отказывать в праве на ошибку. Боже, что за глупости сегодня в голову лезут? И при чём здесь её личная жизнь? В этих стенах она вовсе не влюблённая женщина, а главный хореограф, и её долг служить искусству, а не решать свои проблемы за счёт сцены. Ибо сцена свята и неприкосновенна. Выходит, она поступила правильно. Стало быть, всё верно. Отчего же так тошно? Где она допустила ошибку? Возможно, ошибка в том, что она опять позволила стать ее любовником не тому мужчине?

Ася Петровская стояла посреди огромного зала спиной к окнам, лицом к плохо натёртым зеркалам со множественными разводами и заглядывала в пронзительные глаза, полные слёз. День за днём – а время бежит суетливо, как вода в ливень из сточных труб, – день за днём, всю жизнь она подчиняется магии окружающих её зеркал, этому чудовищному, надоедливому засилью балетных зеркал. Она обречена пожизненно всматриваться в эту женщину в зеркале. Профессия обязывает всматриваться, и с испугом разглядывать эту самую желтеющую женщину, стареющую и дурнеющую с каждым днём. Вглядываться, словно та передаёт ей какое-то зашифрованное послание, а Ася пытается уловить его тайный смысл. Прежде в зеркале всегда что-то сияло, отбрасывая наружу радужные цвета, а вот теперь всё не так ярко горит – нет, всё гаснет, словно у жизни для неё остались исключительно пепельно-серые тона. Ася заправила рыжие волосы за ухо, оттянула вниз свитер, и её двойник синхронно повторял её движения. Или это она повторяла за двойником? Асе не слишком нравилась разглаженная, ухоженная до ненатуральности (верный признак неуверенности в себе) женщина в зеркале. «От этой работы я потихоньку схожу с ума. Так и до нервного срыва недалеко», – устало подумала Ася, продолжая смотреть на испуганную женщину, внешность которой скорее её отталкивала своими некрасивыми складками вокруг рта и обречённо-гибельным выражением глаз. Она начала её опасаться после того, как тайно стала встречаться с молодым мужчиной. Потому что как-то сразу обнаружила, что её собственная тесная кожа на лице и теле стала гораздо свободнее, уже

не такой плотно обтягивающей, какой была прежде. И чем больше Ася в неё всматривалась, тем большая тоска её охватывала. Стало быть, чтобы не бояться зеркал, нужно поставить крест на любви. Правильнее было бы сказать, крест не на любви в целом, а на отношениях с молодым. Легко сказать! У неё самой не хватит на это сил, она дождётся, пока это сделает он. «А что же со мной будет, когда он меня бросит? От горя женщины стареют вдвое быстрее», – подумала она с болью, свойственной женскому отчаянию. Сейчас Ася почувствовала себя побитой белкой, загнанной рыжеволосой белкой, закрашивающей собственную седину на висках, – белкой, которую загнали и побили неумолимые стрелки часов, чей ход невозможно ни остановить, ни замедлить, ни оспорить.

IV

В это время дня служебный буфет, как правило, пустовал, пока все прилежные ученики не отходят от станка и, как трудолюбивые рабочие лошадки, изнуряют себя до седьмого пота, пока им всё на свете не осточертеет, ну а менее прилежные уже озверели и под благовидными предложениями отправились на все четыре стороны наслаждаться свободой...

Буфетчица Ивета Георгиевна, старая, проворная и быстроглазая, старательно выкладывала на пирожковые тарелки крохотные морковные котлетки с такой же крохотной порцией салата из свежей капусты и разливала по доисторическим гранёным стаканам клюквенный морс из большого стеклянного кувшина, держа при этом мизинец отдельно от всей кисти. Она была довольно стройной, несмотря на свой возраст, темноволосой, с небольшим острым носом, немного выкатывающимися из орбит глазами и независимым нравом.

Увидев очень прямую спину вошедшей Аси Петровской, Ивета машинально кивнула ей, не отрываясь от морса.

– Веточка, зелёный чай, пожалуйста. Нет, пожалуй, лучше кофе.

– Что-то у тебя ручки дрожат, Асенька? – участливо спросила Ивета тонким и звучным голосом, медленно моргая глазами. Она ко всем относилась с симпатией, со всеми была доброжелательна, со всеми – на короткой ноге, а выглядела так, словно ей было известно значительно больше, чем она говорила. Ко всему прочему, ей всегда и до всего в театре было дело.

– Всё в порядке, Веточка. Спасибо! – Ася принуждённо улыбнулась, поджав тонкие губы.

– Эх, девочка, кого хочешь обмануть? Старую Вету? Знаешь ли ты самую распространённую ложь на свете? Это ваше «всё в порядке» и есть первостепеннейшее враньё. Ну да ладно, попей кофейку, глядишь, и повеселеешь.

Софья Павловна Романовская заглянула в буфет будто бы случайно, но, обнаружив там Асю Петровскую, запивающую чёрным кофе свой очередной рабочий день, хитро заулыбалась, подмигнув ей от двери.

– Давай наконец-то признаемся друг другу, – иронично заговорила Соня, усаживаясь без разрешения за Асин стол, – признаемся, что хорошая отбивная с жареной картошкой, гораздо интереснее, чем все эти чаи, кофеи и яблочные муссы вместе взятые. А, Асенька? На фоне отбивной ты бы смотрелась гораздо лучше.

– Восхитительная мысль, – быстро отозвалась Ася. – Привет, Сонь. Кофе – это ещё что? И без него есть от чего затосковать.

– От чего же ещё, Асенька? Молодёжь заурядная, что ли? Темпераменты не живописны? Или я ничего не понимаю в искусстве?!

– Молодёжь? – зачем-то переспросила Ася.

– Она самая, та, что теперь совершенно не интересуется окружающими людьми, боже их упаси, а интересуется исключительно собой, да ещё тем впечатлением, которое она производит на окружающих людей. Кстати, как там мой сынок? Говорят, он будет танцевать Альберта. По-моему, они с Милкой Соловьёвой отлично смотрятся? Плохо только, что эта сумасбродка Милка помешана на сцене и собственной независимости, а то я, глядишь, могла бы и внуков понять. А так, видно, не удастся.

Говоря всё это, Соня внимательно наблюдала за Асей и отметила, что та при упоминании о Серже и Милене как-то вдруг дёрнулась и постаралась незаметно для Сони выпустить задержанное на мгновение дыхание, но Соня эту крохотную деталь всё-таки заметила.

На лице у Аси появилось неловкое выражение, она даже улыбнулась невинной улыбкой простушки, не понимающей о чём, собственно, идёт речь. Однако же ей очень хотелось, чтобы говорящая Соня сию же минуту замолчала. Ася никогда не придумывала себе нарочно огорче-

ний, но эти банальные женские разглагольствования доставили ей почти что физическое страдание.

– Что такое, Асенька, что случилось? Сейчас у тебя вид сотрудника из агентства ритуальных услуг.

Ася хоть и пыталась делать большие глаза, всё равно выглядела подавленной и уставшей.

– Уверена, тебе давно никто не говорил, что ты хороша, что выглядишь ты соблазнительно, – не унималась Софья Павловна.

– Именно это я слышала сегодня ночью и даже утром, – уверенно солгала Ася.

– Ах, ну если ещё и утром, – ненатурально оживилась Соня, – то это уже почти серьёзно.

Кто же этот эстет?

Ася припомнила свою прошлую ночь, одиноко проведённую в обнимку с зачистившей бессонницей, и своё одинокое, раздражённое пробуждение. Да, ей уже довольно давно не говорили нежных слов, погружающих любую, даже очень взрослую и даже очень умную женщину в состояние глупой, лёгкой беззаботности. Да, сегодня утром она проснулась одна на своей широченной ледяной кровати, сегодня она в одиночестве сделала пару глотков очень крепкого чёрного кофе, в одиночестве затянулась несколько раз сигаретой, нервозно раздавила её о пепельницу и опять же в одиночестве отправилась на работу. Ася прикрыла глаза, поджала бескровные тонкие губы, чтобы сдержать гнев и не послать Соню ко всем чертям, или ещё куда подальше, и желательно при этом не быть стеснённой в выборе фраз.

– Сонечка, ты ведь отлично осведомлена о нас с Сержем. Зачем же ломать комедию? Он интересуется мною уже целый год, и ты это знаешь.

– Брось ты, Аська, – Соня небрежно махнула рукой, – в его нежном возрасте мужчины интересуются всякими разными женщинами, а бывает что и не только женщинами. Как же это называется... подожди, сейчас вспомню. Транзисторность. Вот как это называется. Сексуальная транзисторность.

– Транзисторность, Софья Павловна, – сквозь зубы поправила её Ася.

– Я ведь не о нём печалюсь, подружка. У него вся жизнь впереди, он разберётся. Мне жаль твоего времени, Ася, которого почти не осталось. Ну что тебя ожидает, подумай сама? Безуспешные попытки долго не стариться, чтобы удержать молодого любовника? Ведь так? Но это же слишком утомительно, и даже как-то примитивно для такой здравомыслящей женщины, как ты. А ты же у нас умница, Ася. Или что, по ночам он пробуждает в тебе нереализованное материнство?

Софья говорила тихо, неестественным тоном, совсем не свойственным ей – шумной, громкоголосой. Говорила, словно ядовито насмехалась. Так, во всяком случае, показалось Асе. И она машинально потёрла лоб рукой, словно там было написано нечто, не позволяющее окружающим, и Соне в том числе, оставить без внимания её душевное состояние.

– Сонь, а ты с ножа есть не пробовала? Тебе надо начинать с ножа есть, чтобы злее быть, а то ты какая-то добрая в последнее время. Извини, у меня репетиция. – Ася торопливо встала и длинными шагами вышла из буфета.

– Иди, Асенька, иди, прививай детишкам душевное благородство.

V

Ася шла по коридору не просто быстро, она шла с такой энергией, будто разрезала кусок мрамора кухонным ножом. Её сильно задел этот отвратительный разговор якобы по душам с Соней Романовской. Да пропади оно всё пропадом, подруга называется. Змея подколотная. Почему Соня так с ней разговаривала, откуда такая жестокость? Что она, Ася, ей такого сделала? Ведь Соня умна, слишком умна, а умный человек не может быть жестоким. «Или она попросту ненавидит меня, – рассуждала Ася Петровская, – или ненавидит Милену? Либо пытается меня на неё натравить. Но зачем? Женская ревность? Интриги, милые сердцу интриги, обожаемые слабым полом междоусобицы?» Асе захотелось застать Сержа где-нибудь случайно у выхода или на улице и откровенно пригласить его к себе домой, чтобы немедленно опровергнуть беспощадные рассуждения Софьи Павловны и зачем-то доказать себе обратное, но он, как назло, нигде не попадался ей на глаза. А она жаждала его объятий, и это не было простым желанием одинокой, тоскующей женщины, – сейчас они стали бы самой настоящей болеутоляющей таблеткой, прямым массажем сердца.

На последнем повороте, у самого гардероба, Ася услышала громкий смех одевающийся молодёжи, беззаботной театрально-местной молодёжи, среди которой был он, Серж. Ей давно не случалось видеть Сержа так от души, вот как сейчас, смеющегося рядом с ней, с Асей. Она остановилась за колонной, но так, чтобы её не было видно, сжалась и обхватила себя руками. В этот момент, на выходе из театральной двери, он показался ей невероятно, пьяняще-ликующе счастливым, и, что самое неприятное, счастливым без неё. Какая жалость! Она не любила этот дурацкий, бессмысленный смех, который всегда сопутствует молодости. Ей стало вдруг как-то неуютно, неловко, холодно, словно она поступает очень дурно, подглядывает за ним в замочную скважину, по всему её худенькому телу пробежал сильный сквозняк ревности и ностальгии по давно прошедшей молодости. Однако, немного постояв в терзаниях за колонной, она набралась духу и окликнула его:

– Романовский! Можно вас на минутку... – Неожиданно для неё самой голос её прозвучал оглушительно громко, совсем как у старого полкового командира.

Серж быстро обернулся, подошёл к ней, подавляя остатки смеха, и уставился на неё внимательными карими глазами, одновременно завязывая нелепый узкий галстук, который суетливо путался у него между пальцев.

– Прости, прости что отвлекаю... – она запнулась, и её тонкие трогательные губы сделались ещё трогательнее и тоньше. – Ты сегодня как-то неестественно весел. Серж, со мной ты так никогда не радуешься, со мной ты вообще редко смеёшься. И за последнюю неделю ни разу меня не вспомнил. Почему, Серж? Тебе со мной скучно? – едва произнеся всё это, Ася тут же пожалела об этих своих ненужных словах.

– Ась, ты чего? Задаёшь вопрос и сама же на него отвечаешь, – стараясь не улыбаться, чтобы не раздражать, но довольно дружелюбно ответил Серж. – Ты ж сама отдала главную мне. Мне, а не Платону, а теперь упрекаешь, что я счастлив. Здравствуйте! Да и видимся мы каждый день. Ну, в смысле на репетициях видимся. Ты чего, Ась?

– На репетициях, – монотонно повторила Ася, задумчиво глядя ему в глаза, – на репетициях, мы видимся на репетициях. Так, значит, у нас с тобой всё прекрасно, раз мы видимся на репетициях?

От неловкости она не старалась быть обольстительной, у неё не было на это сил, напротив, сейчас Ася выглядела очень уставшей, посеревшей, задёрганной жизнью, и даже как будто больной, и Сержу стало совестно, что он заставляет страдать женщину, что он уже две или даже три недели, пользуясь всевозможными предложениями, пытается избежать обязанностей любовника.

– Ладно, ладно, я не то сказал. Извини, Ась. Я тебе сегодня вечером позвоню. Честное слово. И обязательно заеду. Ну, я побегу, Ася Николаевна, а то неудобно, ребята ждут.

Он торопливо ушёл, она посмотрела ему вслед с мрачной недоверчивостью и опустила на глаза тяжёлые веки. Его молодость и красота, его мужественность, перемешанная с остатками детскости, делали его недоступным и причиняли ей боль. Он опять поставил её в режим невыносимого ожидания. Позвоню. Позвоню. Нет-нет, это не он её поставил, не следует лукавить, это не он ей навязывается, это она сама вынудила его воспользоваться листом ожидания. Разница в возрасте, разница во времени. Презрение ко времени хорошо только на словах, ещё оно хорошо в музыке, в танце – да, на сцене и в сорок лет можно, сколько хочешь, девочек танцевать. А в жизни... Как долго она сможет выносить это пренебрежение? Пренебрежение. Как правило, мужчины пренебрегают именно теми нетребовательными женщинами, которые сами же им навязываются, так что жаловаться особенно не приходится. Кажется, круг замкнулся. На сколько у неё хватит выдержки, чтобы внешне казаться нетребовательной, всем довольной женщиной? Да, она всегда боялась болезненного женского смирения в отношениях с мужчинами, даже с очень молодым любовником. Неважно.

С детства, с самого детства Ася терпеть не могла нелепую, ненужную, бессмысленную покорность андерсеновской русалочки. Эта трогательная история любви никогда не приводила её в восторг. Любовь даётся людям для жизни, а не для смерти. Впрочем, в юности все девчонки жаждут принести себя в жертву ради единственной вечной любви и даже гордятся своими переломанными шеями. А чуть позже выясняется, что единственная и вечная может неоднократно и неожиданно повторяться много раз. Асе Петровской всегда больше нравился образ лукавой и хитрой итальянки Мирандолины, ловко перебирающей мужчин, словно чётки между пальцев. Когда-то она и сама пыталась быть такой, но те времена давно прошли, забылись, почти стёрлись из памяти, отошли куда-то в мир иной. И теперь вот ей, хоть она и не русалочка, приходится терпеть чёрт знает что. Разница в возрасте... Лет двадцать назад ей, конечно, не пришлось бы прятаться за колонну, краснеть, бледнеть и раздражаться на его юношескую беззаботность. Да, он беззаботен, он юн и ни за что не отвечает, в этом вся его вина. Её, взрослую женщину, подобное не должно выводить из себя. Не должно, но выводит. Лет двадцать назад она бы, не задумываясь, подошла к нему, поцеловала бы его в щёку при всех, не стесняясь, не борясь с искушением просто постоять рядом. Сейчас она бы многое отдала за это. От таких мыслей в Асе шевельнулась жалость к себе, но только жалость эта была вперемешку с чувством презрения – за собственную слабость, за отказ от принятия решения, за выученную женскую беспомощность, за упоение любовными горестями, чёрт бы их побрал. Если бы она умела плакать, то непременно бы всплакнула, но она давно разучилась, и сейчас ничего не оставалось, как твёрдо дать себе обещание по возможности в самое ближайшее время избавиться от подобных трагических красок.

VI

Низкие серые тучи, кое-где подмазанные светлыми пастельными нитями, расплзались плотной тяжёлой пеленой, постепенно смешиваясь со скучным тёмным небом. В сыром воздухе растворялись звуки проезжающих машин. Разноцветные огоньки сквозили, дребезжали в подползающих сумерках, булыжник под ногами блестел мокрым металлом. Ася Петровская уже давно вышла из театра и стояла посреди широкой улицы, словно в лёгком опьянении, упрямо упираясь глазами в проходящих мимо осенних людей с хмурыми осенними лицами, не видя, не замечая их. В её голове, в её сознании и в области грудной клетки, как навязчивая галлюцинация, расстилался унылый мрак, и вдобавок опять же он – слишком юный Серж Романовский. Серж стоял с улыбкой на открытом смуглом лице, естественно развёрнутыми плечами, и блаженный взгляд его византийских глаз был нацелен в пустоту. Да, он младше её на много лет, и с этим ничего нельзя поделать. Видимо, ей следует уехать в другой город... А что, это идея! Сменить работу, окружение, не видеть его больше, не иметь возможности даже издали за ним наблюдать. А зачем ей за ним наблюдать? На нём что – свет клином сошёлся? Нет, наверное, сегодня выдался не слишком удачный день, и она, Ася, всё несколько драматизирует. Так уж ли она к нему прикипела? Или ей просто-напросто грустно по вечерам возвращаться в собственное одиночество? Может, нужно перестать хныкать как маленькая стареющая девочка и попытаться покончить с назойливой мольбой о любви, наконец-то избавиться от осознания своей горькой обречённости, перестать мучиться невозможностью хоть сколько-нибудь близких отношений? Может, взяв себя в руки, утереть собственный чудесный носик и чего-нибудь выпить? Хотя бы кофе. Да, она, Ася Петровская, не сумела привязать его к себе, да и чем?! Мужчины ведь любят глазами! Она не оставит даже случайный след в его жизни, он ей этого не позволит. Ну и что? Очень скоро он вообще перестанет её замечать, её – женщину в возрасте. А женщина бессильна перед возрастом, об этом не следует забывать. Хотя робкая надежда на женское счастье все равно теплится где-то внутри, но в ней, в Асе, достаточно здравого смысла, чтобы не пребывать слишком долго в мучительно-неразрешимой ситуации и не платить за любовный акт цену, равную собственному существованию. Да, не платить! Ну что же, превосходно. Впрочем, возможно, это всё пустословие, рассуждать всегда легко.

Сейчас ей почему-то вспомнилась первая любовь. Ася поймала себя на мысли, что с тем мужчиной у них была такая же разница в возрасте, только он, наоборот, был её вдвое старше, но так же красив, как Серж, и так же притягателен и недостижим. Тогда она болезненно пережила разрыв, тогда она искренне не понимала, зачем всё, зачем продолжать жить, если его нет рядом, но прошли годы, и эта рана напоминает о себе всё реже и реже. Однако и по сей день у неё в спальне, в верхнем ящике платяного шкафа, хранится коробочка со связками воспоминаний, с толстыми пачками воспоминаний о первой любви. При виде той коробочки у Аси до сих пор всё болезненно сжимается внутри. Но иногда она всё же позволяет себе доставать её, раскрывать и вспоминать время, когда впервые в жизни была счастлива. Ася садится на пол, ставит перед собой коробочку и с нетерпеливой горечью перебирает старые фото, оказавшиеся невольными свидетелями тех незабываемых мгновений, тех кипящих страстей. Два восхитительных года, которые они провели в объятиях друг друга, их невозможно уничтожить или отменить, потому что всё это было. После разлуки с тем мужчиной, с Евгением, Ася долго-долго грустила, пока не встретила Сержа, – грустила по промелькнувшей, прошмыгнувшей мимо любви, с её чудесными мечтами, смелыми планами, любви нежной и настоящей, обещавшей быть вечной и никогда не закончиться. Ася и сейчас не понимала, как же они посмели расстаться, пережив такое буйное помешательство. Или они его вовсе не пережили? Он оставил прежнюю семью, а она сцену, но они оказались слишком разными людьми и не смогли, не сумели быть вместе. Противоположности, получается, не притягиваются, нет, они существуют в параллельных

мирах. Это более логично – если в рассуждениях о мужчине и женщине вообще уместна какая бы то ни было логика. А её, Асю, похоже, всегда привлекало недоступное. Так, стоп! Это было всего два раза в жизни. И подобные рассуждения, как ни прискорбно констатировать, напоминают исповедь прирождённой неудачницы. А что нужно делать, чтобы избежать мучений? Нужно срочно перестать копаться в чувствах, а пытаться наслаждаться текущим днём, ну, или хотя бы чем там, его остатками, и, конечно же, чашкой кофе, очень большой и очень горячей.

Тяжёлые дождевые тучи всё-таки прокололись, прохутились, стал накрапывать нудный мелкий дождик. Но ветер сделался немного спокойнее и тише. Ася Петровская, утомлённая разошедшимися нервами, воспоминаниями, внутренним грохотаньем эмоций и вместе с тем немного успокоенная их временным, пусть и недолгим затишьем, не раскрывая зонтика, а лишь поправив высокие перчатки, наконец зашагала по прохладному булыжному тротуару куда глаза глядят. Она удивилась и обрадовалась, что почему-то сделалась совершенно спокойной. Да, она женщина, а женщина – это как распаханная земля после дождя, готовая к оплодотворению, это естество, в некотором смысле священное, и не из-за чего здесь нервничать и лезть на стенку. Тонкие кожаные каблук Аси ныряли в грязь между калиброванным булыжником, но Ася не обращала внимания. «Всё не так уж и плохо, – думала Ася, – совсем неплохо, любовь, страсть, радость, мука. Да, пусть всё будет, за исключением одного. Милена Соловьёва, она здесь лишняя».

VII

Сквозь дома был виден едва уловимый дождливый закат. Серж стоял на остановке, дожидаясь троллейбуса, втягивая в себя прохладный воздух улицы, и заодно с удовольствием и полной боевой готовностью разглядывал проходящих мимо него женщин. Несмотря на тот факт, что Серж был избалован женщинами, пресыщен женщинами, и временами ему казалось, что даже самые разные женщины все более или менее одинаковы, сейчас он с определённым мужским азартом смотрел им вслед, и они, казалось, также не без интереса обращали на него внимание. Он знал, что нравится женщинам, видел, как они любят его узкими бёдрами, как их пленяет его мощная грудь, сильная шея, он затылком ощущал, как эта мужская победоносная красота их притягивает, как она их привораживает. Только на улице Серж чувствовал себя настоящим хозяином жизни, отчего высоко и глупо задирает свой подбородок. Дома всё было не так. Там вечно опекающая мать, обволакивающая своей заботой, будто он какой-то неразвитый уродился. В театре Аська с Милкой вцепились в него мёртвой хваткой, просто прохода не дают, даже несмотря на его лёгкое, но плохо скрываемое пренебрежение по отношению к ним. Ася, правда, пытается цепляться за него деликатно, со свойственным ей сдержанным благородством, и на том спасибо, а Милка... ну, Милка есть Милка, это отдельная история.

А Серж мечтал встретить недоступную женщину, ускользящую женщину, женщину-видение, женщину-призрак, которую нужно долго и трудно завоёвывать. В чём он как раз видел неиспытанное доселе наслаждение, ибо таких женщин ему пока не довелось повстречать. В долгие ухаживания он вкладывал особый смысл, для него они означали зарождение главного, ещё неиспытанного, неведомого чувства. В этом-то, как ему казалось, была особая прелесть душевного наслаждения, совершенно несравнимая с наслаждением физическим. Он понимал, что такие отношения не имеют ничего общего с обыденной заученной фальшью, которой сейчас все так ловко научились пользоваться.

Подобные юношеские фантазии, конечно же, ничуть не мешали ему обращать внимание на женщин в целом, не сторониться их, но на его лице всё чаще и чаще стала появляться циничная мужская ухмылка. О чём эта бесовская усмешка, было понятно только ему самому да ещё, пожалуй, его ясновидящей матери Софье Павловне.

Наконец-то замёрзший, продрогший Серж увидел вдали приближающиеся огоньки. В троллейбусе было немногочленно и тепло, усталая кондукторша из последних сил окидывала сканирующим взглядом вошедших, таких же усталых пассажиров. Ей бы очень хотелось, чтоб все поскорей расплатились и ушли, и вообще чтобы весь этот день – впрочем, как и все предыдущие и все последующие – побыстрее уже закончился. В троллейбусе сидели люди с лицами не то чтобы опустошёнными или потерявшими надежду, бедняги, измученные тяжким трудом, но люди как будто слишком уставшие от жизни, с печатью отчаяния в глазах, отчаянием, не маскирующимся этикетом, а, напротив, хорошо читающимся по их вечерним лицам.

Серж, не обращая особого внимания на окружающих, уселся на двойное сиденье из коричневого, сильно потрёпанного дерматина, засунув руки поглубже в карманы брюк и запрятав подбородок и всю нижнюю часть лица в высокий воротник куртки. Ему хотелось и отдохнуть, и отогреться. Троллейбус с глухим скрежетом медленно тащился по освещённому проспекту, городские мерцающие фонари сначала плыли ему навстречу, а поравнявшись, на мгновение замирали и потом разбегались в разные стороны. В тепле троллейбуса Сержа разморило, появилась лёгкая осоловелость от привычной езды по одной и той же дороге, и ему захотелось спать. Он поуютнее укутался в свою куртку из искусственного меха, прижался головой к прохладному запотевшему стеклу и быстро задремал. Перед глазами тут же возникла женщина в тёмном платье с выпуклыми пуговицами на полной груди и почему-то белыми босыми ногами. Она медленно наклонила своё свежее молодое незнакомое лицо к лицу Сержа, а затем,

проведя кончиком пальца по его щеке, осторожно прикоснулась к ней пухлыми губами. Серж испытал чарующее восхищение, смешанное с жадным мужским любопытством к её волнующим формам. Горячая волна прошла по его телу, от затылка до пяток, мурашки так и побежали по голове. Ему тут же захотелось ощутить на себе всю тяжесть её крепкого, упитанного тела и в тишине уснувших мыслей, но пробудившихся желаний погрузиться в теплоту её женских объятий и поскорее позабыть давно опостылевшую балетную худобу вместе с костлявой утончённостью его нынешних подруг. Он даже почувствовал лёгкую ломоту в шее и спине и, предвкушая наслаждение, собирался протянуть руку, чтобы половчее и покрепче обнять девушку. Но тут же так некстати проснулся. Девушка исчезла, а всё его тело ломало от неудобного положения. В первое мгновение пробуждения Серж растерялся, щека ещё чувствовала поцелуй и оттого горела, а ему самому не хотелось отрываться от сладостных фантазий. Он снова сомкнул веки, чтобы увидеть её ещё раз, но вместо прелестной незнакомки появилось просящее, умоляющее лицо Аси Петровской. Серж быстро открыл глаза, спать ему резко захотелось. Сегодня он опять сам себе пообещал наконец-то ей позвонить или даже забежать к ней на часок перед сном, и опять, кажется, обманул. Не её обманул, нет, он обманул самого себя. Ася, конечно, не первой свежести невеста, это понятно, но когда он её ласкает, в ней проступает что-то очень настоящее, волнующее, цепляющее за душу, что-то такое неподдельное, чего он никогда не встречал у других женщин. И ему это нравится. Жаль, что она не родилась лет на двадцать позже. Возможно, тогда у них бы вышла чудесная love story⁵.

Если бы у него, у Сержа, были силы и время, то он обязательно испытал бы сейчас к себе нечто похожее на отвращение, но ему было всегда недосуг, к тому же эти чёртовы репетиции выматывают так, что и сил катастрофически недостаёт. Он научился прощать себя. Он ведь не образец совершенства, и потому незачем себя казнить. И ему захотелось вдруг, чтобы Ася Петровская его пожалела, чтоб она его утешила, потому что в её утешениях, в её объятиях можно и спастись от терзаний совести, и оправдаться, и потеряться во времени, и не слышать и не видеть ничего, как в материнской утробе. И рука Сержа, как бы сама по себе, проворно достала телефон из кармана куртки и набрала её номер:

– Ася, до утра я свободен. Угостишь чашкой кофе? – и, не услышав мгновенного радостного ответа, он спросил уже более настойчиво и почти раздражённо: – Ну так примешь или нет?

⁵ История любви (англ.).

VIII

Уже октябрь. Лето давно сошло на нет, закончилось, а Женька никак не могла взять себя в руки и заставить трудиться в театре. Она брела по переполненному проспекту по направлению от балетной сцены, сама не зная куда, то и дело натыкаясь на извивающиеся реки прохожих. Город ломился от спешащего многолюдства. Всякие разные лица – бледные и загорелые, молодые и старые, бодрые и усталые – мелькали перед глазами. Все чем-то заняты, у каждого свои дела, свои мысли, разговоры. «Ну хоть бы кто-нибудь с интересом посмотрел в мою сторону», – думала Женька, и от этого одиночества среди людей, среди толпы делалась озлобленной. В унылом однообразии осеннего ветра лихорадочно вспыхивали ледяные вывески магазинов и ресторанов. В зеркальной витрине она поймала своё отражение, остановилась и стала разглядывать. Прямая как стрела, тонкая, долговязая девица двадцати лет. Каштановые волосы стянуты в тугий пучок, широкие плечи, короткое коричневое пальто из шотландки под цвет волос (немного великовато и висит как на вешалке, но сейчас в моде лёгкая небрежность), плотно облегающие джинсы, белые кроссовки на босу ногу (холодно, правда, но зато как шикарно!). Ей показалось, что она неплохо выглядит сегодня, но вместо удовольствия или симпатии почувствовала только сострадание к себе. Как мало, в сущности, она себя знает, если не считать внешность, выученную до миллиметра, то она с собой почти незнакома. Суждено ли её нерождённой радости появиться на свет, взять верх над тусклой беспросветностью? Или ей и дальше придётся прозябать среди непреступных дебрей большого света. Никто не возлагал на неё никаких надежд, никому не было дело до её балетной карьеры, и это досадно. Да она и сама, по правде сказать, не слишком верила в свой талант. Она вздыхала со смешанным чувством жалости к себе и озлобленности на весь свет. «Главная роль опять досталась этой ехидной, высокомерной выскочке. Платон слушается её, волочится за ней как собачонка, Серж её любовник. Мышьяк по ней давно плачет, ну или чем там ещё можно отравить ненасытную крысу. Именно крысу, она из-под носа утащила Платона». Мысль о мышьяке определённо нравилась Евгению, она её будоражила, приводила в восторг и даже наполняла жизнь своеобразным смыслом. Женька вспоминала ядовитое снадобье, приготовленное по приказу Екатерины Медичи и упакованное в баночку для губной помады. Красавица красит губы, затем их облизывает, и готово дело. Правосудие свершилось. А как прикажите выживать в мире, где нет справедливости? «И что Платон в ней нашёл? Почему мужчины нежно любят только тех женщин, которые их жестоко наказывают, которые делают им больно, и совсем, совсем не замечают других, способных их осчастливить? Если бы он только отрезвел от этого своего дурмана и увидел меня, всё могло бы сложиться по-другому. Почему одним всё, а другим ничего. Это нечестно», – хлюпала озябшим носом Женька Васильева.

Ничего страшного, она подождёт, она сумеет. Радость ведь нельзя запланировать, выносить и родить, она появляется на свет неожиданно, – говорят, она появляется именно тогда, когда утрачена всякая надежда. А до тех пор придётся смотреть на это мутное плаксивое однообразие большого города, затянутого тусклым туманом, – серое однообразие, которое никогда-никогда здесь у них не заканчивается. «Господи, – шевелила губами Женька, – как же они живут-то тут, эти серолицые люди, не зная, что такое чистый белый снег, даже не подозревая о прозрачном воздухе, зелёных полях и искрящемся небе цвета спелой антоновки. Они не знают, как по-настоящему пахнут листья, потому что здесь, в этом городе, листья пахнут бензиновой пылью. Им здесь знакома только бесконечная мутно-серая дымка над головой, мутные лужи под ногами, вперемешку с мутным дождём и снегом... Так, если я в ближайшее время не решусь на это, то сойду с ума... или умру во всей этой мутной хлипкости».

В её родной захолустной Алексеевке Женька была несчастна вместе с матерью, так что туда возврата, скорее всего, нет. Главное – не перейти грань отчаяния, главное – найти какое-то

утешение. Но какое и в чём? Ни с какой стороны у неё нет поддержки – ни в дружбе, ни в любви, ни в религии. Она даже не представляет, что это такое, особенно после того, как их с мамой бросил отец- предатель. В театре она никому не интересна, никто её больше не ободряет, верить теперь не во что, надеяться тоже не на кого, лишь на саму себя. Да, исключительно на саму себя. А это уже и есть определенно кое-что. Она не подведёт саму себя, нет-нет, она не какая-нибудь там заблудшая овца, то есть, конечно же, душа; она обязательно пройдёт этот межевой столб и сумеет заполучить положенную ей награду.

Женя ведь уехала из родного города, чтобы не видеть измученную мать с её пустыми страданиями, чтобы хоть как-то преуспеть в этой сложной, хитроумной жизни, бросить ей вызов, обвести вокруг пальца, обмануть её или переманить на свою сторону. Переманить... но тут уж как получится... и, наконец-то, выделиться из серой толпы в её сумасшедшем водовороте. Справедливость обязательно восторжествует. Женька питала определённые надежды на случай, который поможет ей, заставит поскорее забыть о том, что произошло в Алексеевке. Или...

IX

Наутро в коридорах, гримёрных и балетных классах хореографического царства бушевало, или, лучше сказать, клокотало, праведное возмущение. Сегодня Ася Петровская была очаровательна в бежевом брючном костюме из тонкого джерси и с длинной ниткой чёрного жемчуга, завязанной узелком на груди. Она с непринуждённой естественностью нарочно прохаживалась мерным уверенным шагом туда-сюда по нескончаемому коридору, окидывая пространство взглядом хищной птицы и внимательно вслушиваясь в утренний гомон своих подопечных.

– Я просто уверена, что Жизель будет такой же кощунственной, как и сама Милена, – долетали до чуткого уха Аси чьи-то убийственно-красноречивые, возбуждённые речи из женской гримёрки.

«Батюшки, какие слова-то мы, оказывается, знаем», – ехидно подивилась Петровская, продолжая вышагивать и заинтересованно слушать.

– Да, Аська промахнулась, это точно! Жизель выйдет странной. Вот если бы я танцевала, я бы не делала её слишком робкой, и только не провинциалкой, нет, нет. Ну, вот я из Алексеевки, уж куда провинциальнее, так у нас робких вообще нет. У нас все боевые, а если что, так и постоять за себя могут. Моя Жизель была бы настоящая городская девушка, с эдаким налётом независимости. А что? По-моему, это так привлекательно.

От подобных бесцеремонных разглагольствований о глубинных замыслах сценической драматургии Ася, не выдержав, скривилась, словно съела лимон, но не ушла. «Как славно и как скучно начинается день», – думала она.

– А если бы я в главной выступила, то мой пузан из стоматологической поликлиники мне бы сразу «Мерина» купил, – сладким голоском похвасталась совсем юная Лера Ильина, – он прям так и сказал: «Мерина куплю, если спляшешь».

– Какой пузан?

– Ну, я зубы лечила в поликлинике зубной, – с певучей томностью продолжала девушка, – а доктор ихний, как меня увидал, так и сразу обомлел и ноги у него прям подкосились. Говорит, что влюбился в меня с первого взгляда. На Мальдивы звал. Интересно, откуда у зубного врача деньги? Старый, правда, лет под сорок, как наша Аська, но видно, что разбирается в настоящей красоте, раз ко мне прилип как банный лист.

– Может быть, у них есть негласная договорённость, давать главные роли только Милке?

– Девчонки, я, правда, немного стыжусь с этим пузаном по улицам ходить. Он ведь такой весь обрюзгший, изо рта болезнью пахнет, но зато с деньгами, – продолжала рассуждать сама с собой Лера, – ладно уж, всё лучше, чем ничего. А что делать, если красавчики на меня внимания не обращают? А пузанчик мне в любви на каждом шагу объясняется, ну и я ему соответственно тоже, жалко, что ли. Пусть порадуется, человек ведь все-таки, не скотина. А «Мерина» жалко. Ой как жалко, девочки!

– Да хватит тебе со своим «Мерином». Чего пристала-то? Мы ведь о святом, об искусстве, а ты заладила: всё пузан да «Мерин», – не выдержав, с укоризной и раздражением бросил кто-то из девушек.

– А я о чём? Так ведь и я о святом! – не поняла Лера. – А ты бы лучше свои наливные прыщи повыдавила, чем на меня огрызаться.

– Слушайте, девчонки, не ссорьтесь вы, сюжет ведь ничего особенного. Подумаешь, бедная селянка, обманутая переодетым графом. Сумасшествие, смерть, ну, что ещё, загробное прощение. Ничего нового, всё банально. Любая из нас станцевала бы лучше неё. Мы здесь все, можно сказать, поглощены искусством, а главных партий никому не дают, – шумели голоса.

– Боюсь, ваша страсть к искусству несколько преувеличена, девушки, – Ася услышала очень низкий и очень спокойный голос Платона Кантора, – а воображение ваше, увы, не знает границ.

– В чём, в чём, а уж в искусстве мы разбираемся, Тоник, – ответил кто-то из пока не состоявшихся балетных прим.

– Дамы, я завидую вашей уверенности, но ваши жалкие рассуждения на эту тему лично у меня вызывают улыбку, в сочетании с лёёгггоньким раздражением, – съязвил Платон. – Это сложная роль, и она под силу только Милене, и вы это знаете, и ничего тут не поделаешь.

– Молчал бы лучше. Неудачник. Скоро свечку у Милкиной койки держать станешь. Сам танцевать не умеешь, лажаешь на каждой репетиции. И не стыдно?

– А у меня нет таланта, – затухающим голосом говорил Платон, стараясь «койку» пропустить мимо ушей, – и это факт. Но в отличие от вас я могу открыто говорить об этом, без всякой стыдливости. Да, я бездарность, а ваши громкие рассуждения напоминают мне свистящий чайник. Много шума из ничего.

– Пошёл вон, лузер, дублёр-любовник с единым проездным в общественном транспорте! Ах, как круто! В наше время быть нищим – это несексуально! Неудачники нас не возбуждают! – хором закричали девчонки, явно несклонные сегодня к патетике.

Асе Петровской было хорошо известно, что хронический сарказм местных служительниц высокого искусства не распространялся лишь на обладателей солидных состояний. Такие мужчины автоматически причислялись у них к потенциальным кавалерам и вызывали у девочек трепетную почтительность. А Платон и ему подобные несостоятельные индивиды удоставались лишь колких насмешек юных фей.

– Милые дамы, ваши советы излишни. Я уже удаляюсь, я растворяюсь, и вы меня не увидите.

Наступило молчание. Платон прошёл мимо Аси быстрым шагом, даже не заметив её. Она почувствовала, как его душила злость, она даже увидела на его шее вздувшиеся артерии. Он бормотал себе по нос: «Эти сук... все эти сифиды блестящие и ундины воздушные, не такие уж бесплотные, как кажутся. Запросто могут глаза выцарапать, мать их...» Окончание Ася не услышала. «Бедняга, – подумала Ася Петровская, – хорошо же они тебя приложили, наши интеллектуалки. Ну просто Орфей, растерзанный вакханками, что и говорить, вот только превращать их в дубовые деревья, судя по всему, придётся мне».

– А что лучше, «Мерин» или «Поршивец»? – продолжали обитательницы женской гримёрки. Их беззаботные девичьи голоса вновь оживились, зажужжали, восхищённые модными жаргонными словечками, но тут же, так некстати, они были прерваны беспрекословным громким голосом Сони Романовской:

– Все на исходную, красавицы мои! Увы, малютки, но пора трудиться, увы! Компании «Порш», слава Богу, банкротство не грозит, так что не отчаивайтесь, мои прекрасные Авроры и Джульетты, «Кайенов» на всех хватит. Дело за небольшим – обзавестись подобающими кавалерами. Или, быть может, вы рассчитываете заключить контракт с Метрополитен-опера⁶? А? Ну а пока контрактов никто не заключил, марш на исходную, мои хорошие!

⁶ Метрополитен-опера (*англ.* Metropolitan Opera) – ведущий оперный театр в США, открытый в 1880 году в Нью-Йорке постановкой оперы «Фауст».

Х

Репетиция началась вовремя, но без Милены, та бессовестно опаздывала. Ася Петровская решила пока поработать с кордебалетом. Виллисы больше походили не на виллис, а на цветочниц из «Дон Кихота». Явных недостатков у них было значительно больше, чем достоинств. Ася старалась выглядеть ровной, но, мельком глядя на себя в зеркало, понимала, что выражение лица её определенно выдаёт.

– Не останавливаемся, девоньки, не останавливаемся, продолжаем, – то и дело раздавался командный голос Аси Николаевны поверх подламывающих ног бедных виллис-цветочниц.

Стоп! Евгения! Где твои мысли, скажи, пожалуйста, о чём ты сейчас думаешь? – строго спросила Ася.

– О ногах, Ася Николаевна.

– Боже мой, я с ума сойду с вами. О каких ногах, Евгения, вы думаете? – внимательные глаза Аси Петровской быстро затуманились досадой. – Твоя мышечная память должна быть УЖЕ достаточно проворной и крепкой, чтобы ты могла не думать ни о каких ногах. Твоё тело, твои ноги – это послушный механизм, который должен реагировать на название каждого рас, как на сигнал, и исполнять его точнейшим образом. Понятно? – сердито спросила Ася, девушка послушно закивала.

– Внимание! Всех касается. Вы должны приручить своё тело, превратить его в инструмент, способный выражать все ваши мысли, чувства и мечты, выражать и доносить до зрителя. На исходную! И запомните, вы не заводные куклы с перекрученной пружиной, от которой можно развалиться на куски, вовсе нет. Вы не куклы! Вы кто?! Вы виллисы, самые настоящие виллисы! И не думайте о корпусе, ногах, руках. Всё к чёрту! К чёрту! Вы должны не исполнять свою роль, а чувствовать её. Понятно? Где ваши чувства? Думайте о возлюбленных, о ваших прекрасных возлюбленных, которые от вас отказались. Что вы при этом чувствуете? Начали.

– Ася Николаевна, – после нескольких рас вновь заговорила Женя, – я могу быть Миртой? Или со мной что-то не так?

– Стоп, все остановились. Что вы сейчас сказали, Васильева?

Девушки прервались вместе с Соней Романовской и её бокастым «стейнвеем».

– Миртой, я не ослышалась? Ваша уверенность, Васильева, меня просто ужасает. Выйдите в центр, прошу вас.

Евгения выпорхнула и замерла посреди зала.

– Что не так? Взгляните на себя в зеркало. Всё не так. Мышцы у вас слабые, кости неокрепшие. Дальше имеет смысл продолжать или этим обойдёмся?

– Продолжайте, – Женя закивала головой, а сама подумала: «Ну чего ты прицепилась-то? Слово сказать нельзя».

– Ну, извольте. У вас, Васильева, нет скорости сокращения при исполнении туров и пируэтов, и этого уже более чем достаточно, чтобы прекратить этот бессмысленный разговор. Возвращайтесь на исходную, Евгения, объяснений достаточно.

Задетая за живое этой несправедливой тирадой, Евгения подчинилась и встала на прежнее место, злобно сверкая глазами.

– Девочки и мальчики, – уже на грани рабочего обморока продолжала Петровская, – как можно больше трудитесь над собой! Только дисциплинированные, только сильные мышцы способны справляться с техникой академического танца. Теоретическая часть окончена, и я от вас уже устала. Продолжаем, – скомандовала Ася, показательно спрятав зрачки за спасительные веки.

Через полтора часа после начала репетиции как ни в чём не бывало с открытым, невинно-простым лицом в зал вошла Милена Соловьёва.

– Извините за опоздание. Я готова, – она пыталась казаться наивно-мечтательной девушкой, словно уже вошла в свой сценический образ.

Ася стиснула зубы от злости и молча кивнула ей в знак согласия. Виллисы расположились на полу вдоль стен, Серж остался стоять у окна, Платон замер у рояля, на заднем плане маячила Софья Павловна Романовская.

Теперь в центр зала вышла Милена Соловьёва, с необыкновенно бледным лицом, контрастирующим с её иссиня-смоляными волосами и такими же бровями. Началась одна из главных сцен – сцена сумасшествия. Ася Петровская смотрела на Милену и не верила своим глазам. Порядок движений выучен назубок, он был у неё уже, так сказать, в ногах. Она совершенно нигде не пережимала. Когда же она успела созреть для этой роли? Чёрт бы её побрал, в самом деле! Или это у неё в крови? Она танцевала необыкновенно робкую девушку, над которой на самом деле навис злой рок. Никаких ненужных ужимок, лишних жестов, никакой суеты, просто одинокая девушка, живущая в себе. Полнейшая откровенность, блуждающий взгляд. У Аси зануло сердце от такой глубины образа, безупречности позировок, словно это не эгоистка высшей пробы, дрянь и стерва Милена Соловьёва. Перед ней была несчастная, не от мира сего француженка Жизель, обидеть которую мог только самый бессовестный, самый бесчеловечный мужчина на свете. Когда Ася, так сказать, пришла в сознание после короткого помутнения в голове, она осторожненько, украдкой взглянула на Сержа, чтобы оценить его реакцию, попытаться угадать его чувства к Милене в эту минуту, может быть, поймать впечатление, производимое на него Миленой. Но Серж смотрел на Милену совершенно пустыми глазами, и Асю это немного успокоило.

На самом деле Серж со скучающим видом почти механически отсматривал очередную рабочую репетицию и никакой трогательной Жизели и в помине не видел. Довольно бледный, утомлённый, он просто стоял, подпирая стенку, красиво скрестив скульптурные ноги и так же красиво поднимая кверху массивные плечи. Так он и стоял, тихонько поругивая сам себя за безразличие собственного сердца к женщинам. Ему казалось, что он и сам был как будто бессильным свидетелем того, что происходит между ним и любившими его женщинами. Впрочем, любила его, кажется, только Ася. Серж это отлично чувствовал, но он же ничего не предпринимал, чтобы вызвать у неё эту любовь или, наоборот, её прекратить, и поэтому отказывался брать на себя ответственность за всё происходящее между ним и Асей. Ему, разумеется, льстила её нежность, её головокружительная порывистость в постели, и его молодое тело откликалось на любовь, но это было, пожалуй, всё, на что он способен в отношениях с ней. Да, это всё. После встреч Серж испытывал к ней что-то очень похожее на сострадание, как, например, сегодня, и злился на себя за собственный эгоизм и легкомыслие.

Милена же была к нему более чем равнодушна, он это отлично видел и не питал никаких иллюзий на этот счёт. Вероятнее всего, ей просто нравилось иногда забавляться с самой красивой и талантливой безделушкой труппы. Да, да, именно талантливой и красивой, ведь Серж себя видел именно таким. В том, что он для неё безделушка, Серж несколько не сомневался. В отношении Милены он никогда ни на что особо и не претендовал, опять же из безразличия. Да, она слишком удобная, слишком чуткая партнёрша на сцене, она вытянет любой спектакль. Даже если он, Серж, во время танца, как вспененный конь, трепещет ноздрями и валится с ног от усталости, то она, Милена, мгновенно это чувствует, берёт его в шенкеля и повелительно ставит на место, и этого уже более чем достаточно в их рабочем партнёрстве.

Правда, иногда она сильно его раздражала своей дьявольской одержимостью получать именно то, что ей хочется, и в постели, и на сцене. Но если сцена заставляла Милену неистово трудиться ради результатов, то в их совместной постели сама Милена требовала результатов от Сержа. Иногда ему безумно хотелось послать её куда подальше, со всей её нежной кожей, ароматом волос, её саркастическими ухмылками и отсутствием моральных правил, и больше никогда-никогда не потворствовать её страстям. Но он не мог этого сделать, потому что ему

самому также льстил статус официального кавалера примы и первой красавицы, а возможно, и звезды русского балета. Для него она тоже, как бы это чудовищно ни выглядело, была всего лишь статусная безделица.

Серж никого не любил, он был всего лишь раздражён, раззадорен всеми этими женскими страстями и попросту вовлечён в них, будучи почти пассивным участником. Поэтому нередко, когда были деньги, предпочитал бордели, из-за их упрощённой немногословности. Там мужчине нет необходимости часами выслушивать затянувшиеся прелюдии, которые слушать и вовсе не хочется. В борделях отсутствуют осточертевшие мужчинам условности и этикет. Кроме того, это чуть ли не единственное место, где мужчина может себе позволить быть не на высоте, а каким угодно, не опасаясь последующих осуждений.

Сейчас, глядя на Милену и поймав на себе вороватый взгляд Аси Петровской, он прекрасно понял, что настанет день, и он без сожаления покончит со всеми этими моральными или аморальными историями (случайные связи с кордебалетом и бордели не в счёт), а впрочем, может быть, и не покончит, какая разница, не так уж это и важно.

У Платона Кантора, глядевшего на Милену, наоборот, от восхищения и ужаса перед глазами пошли тёмные пятна. Она держалась, показывая, как мало её интересуют окружающие люди вместе со всеми их взглядами, чувствами, мыслями, скептицизмом, возгласами одобрения или резкими замечаниями. Даже если их внимание, их восхищение и льстило её самолюбию, то лишь незначительно, самую малость. Она не замечала раздражающего скрипучего паркета, она жила так, будто в мире существовали только танец и она. Все остальные здесь лишние. Сейчас Платон это увидел как-то особенно ясно. Это открытие только усилило его любовь к ней и породило новые страдания.

Сцена закончилась, прозвучала последняя нота. Милена посмотрела по сторонам, и Платон испугался: её глаза были пусты и мертвы, как у белых мраморных статуй. Она стала медленно подниматься с пола, оттирая рукой пот с лица и убирая прекрасную смоляную прядь, упавшую ей на лоб. Её глаза быстро менялись, теперь она смотрела на всех как-то странно, так смотрят на посторонних людей. Воцарилась тишина. Чистая, безмолвная Жизель постепенно исчезла, на её месте возникла вполне реальная Милена Соловьёва со слишком прямой спиной и слишком гордо поднятой головой. Взгляд Аси был полон восхищения и отвращения одновременно. С одной стороны, она была горда за русский балет, но, с другой – банальная женская ревность, словно серная кислота, разъедала ей всю душу. Ася вдруг поняла: не она наставница Милены, нет, об этом не может быть и речи, – её наставница сама Природа, ибо научить этому никак нельзя, с этим даром нужно родиться. И Милена с этим родилась. Из любезности раздались жиденькие аплодисменты присутствующих, слишком жиденькие и слишком притворные.

Платон с дрожащими губами отвернулся к окну и стал разглядывать небо, залитое густым, сумрачным утром с клубящимися облаками, зависшими неподвижно. Первыми, как всегда, очнулись девочки-виллисы.

– Ася Николаевна, я не понимаю, почему к старой скучной драме столько десятилетий такой огромный интерес?

– Девочки, дорогие, – неодобрительно вздохнув, терпеливо начала Ася, – это не скучная драма, нет, это вечная трагедия любви, которая будет актуальна до тех пор, пока существует мир. Это любовная трагедия души и тела. Вначале влюблённые счастливы, но не могут соединиться телесно, и это не делает их любовь абсолютно полной, во втором акте происходит духовное слияние, но в загробной жизни уже нет любви тела, и им не дано телесно любить друг друга. После смерти душа Жизель очищается от мирской суеты, она чиста и целомудренна, и она как наивысший разум, incapable причинять зло. Она способна лишь на мудрое всепрощение. Она ведь даже не задумывается над тем, прощать ей или не прощать принца Альберта. Кто из нас, женщин, в миру способен на такие чувства?

«Ух ты, ух ты, куда хватила! Заткнулась бы лучше, – злобно подумала Евгения, отчего её лицо сделалось неприятным и даже отталкивающим, несмотря на всю юную красоту, – не тебе бы рассуждать о целомудренной любви, неспособной творить зло. У тебя- то жажда любви самая что ни на есть животная».

В это время Милена издала хриплый, почти нахальный смешок, то ли по поводу тупости кордебалета, то ли по поводу заумных наставлений Аси Петровской, а потом обратилась к Сержу:

– Серж, принесите мои гетры, – слащаво, но повелительно распорядилась Милена, натягивая на руки митенки и облачаясь в потёртую шерстяную жилетку.

– Серж, моя милая, – ядовито вставила Софья Павловна, – здесь не для того, чтобы бегать по дамским гримёркам и приносить вам гетры. Воспользуйтесь кем-нибудь другим. – Соня пыталась при этом вежливо улыбаться, но её светло-чайные глаза так потемнели от злобы, что зрачок расплылся на всю радужную оболочку и даже за её пределы.

– Мама, прошу тебя, – решительно вспыхнул Серж. – Ты забываешь, что я уже давно вышел из ясельного возраста и сам в состоянии определить, чем же я здесь, чёрт меня побери, занимаюсь!

Он уставился на мать с вызовом балованного ребёнка, но остался на своём месте и за гетрами всё же не пошёл. Софья Павловна демонстративно вышла из зала. В полной тишине довольно долго были слышны её шаги по лысой ковровой дорожке, поглощающей все звуки. Милена выглядела как само спокойствие, видимо решив не углубляться в местные сантименты и не тратить попусту энергию. Все присутствовавшие испытали некоторую неловкость и неестественно поспешно принялись переговариваться по поводу предстоящего спектакля, изо всех сил делая вид, что никто ничего не расслышал.

XI

Милена стояла перед зеркалом и заканчивала свой туалет, предварительно распахнув настежь дверь гримёрки. Платон наблюдал из коридора, как она вяло причёсывается, припудривается, и очень удивился тому, как она смотрит на себя в зеркало. Холодно, без всякого любования или восторга, как это обыкновенно делают другие женщины, Милена смотрела на себя тоже как на постороннего человека, то есть безразлично. Неестественно безразлично она смотрела на себя до тех пор, пока случайно не обнаружила, что за ней наблюдают. А поймав на себе взгляд Платона, она тут же стала красоваться и прихорашиваться, томно замедляя каждое движение, и нежно, слишком по-женски, разглядывать в зеркале отражение своей юной красоты.

– Тоник, – позвала Милена, – Тоник, ты, кажется, хотел меня куда-то пригласить? А? Совсем забыла тебе сказать, что сегодня вечером я совершенно свободна, – довольно буднично сказала Милена, но Платон этой её будничности замечать не захотел.

Он даже привскочил от неожиданности и чуть было не закивал в знак согласия, но в это мгновение в его голове поднялся такой шум от приближающегося возможного счастья, словно это были волны моря, что он почти перестал соображать, вдобавок ко всему его охватило какое-то оцепенение. Милена подошла к нему вплотную и кротко засмеялась жесткими женскими глазами на совсем ещё юном девичьем лице.

– Подожди, Тоник, я таблетки забыла, – почти ласково проворковала Милена, не дожидаясь его согласия, видимо подумав, что её заманчивое предложение – это вопрос уже решённый.

– Ты, что, болеешь? – спросил Платон.

– Нет, это ты болеешь, и, кажется, головой, – она отозвалась уже не так любезно и даже несколько иронично, – я же ничего не ем, Тоник. А если не принимать витамины, то ноги у меня будут сведены судорогой от недостатка калия, зубы мои выпадут от недостатка кальция, волосы отвалятся от нехватки Д₃, ну и так далее, и от меня ничего не останется. Так что я, догадливый ты мой, уже много лет живу одними таблетками. Странно, что для тебя это новость. Ну да ладно, пошли.

Уже загорелись фонари, и люди куда-то спешили, не обращая друг на друга никакого внимания. Он повёл её по сероватой улице, сосредоточенно ухватившись за её хрупкий локоть. Всякий увидавший Платона в эти мгновения решил бы, что идёт полоумный. Платон был болезненно счастлив, в странном опьянении от мысли, что сегодняшней вечер она проведёт рядом с ним. Он чувствовал себя покорным агнцем, которого ведут на убой, и ничего не мог поделать, напротив, был даже рад этому. Милена была совершенно спокойна и без всякого притворства и наигранности спросила:

– Куда ты меня ведёшь, Тоник?

– Мы идём в гости к моему очень старому деду, наполовину немцу Кантору. Он всегда был мне вместо родителей.

– С ума сошёл? Это ведь неудобно. Да и зачем? Ты торопишь события. Я не желаю быть представленной ко двору раньше времени.

– Не беспокойся, он тебе понравится. Это необыкновенный человек, вот увидишь. Он философ, правда немного сумасшедший, то есть я хотел сказать чудаковатый, как и положено всякому философу, – с некоторым пафосом говорил ей Платон. – Когда-то давным-давно он жил во Фрайбурге и даже слушал в местном университете лекции самого Хайда...

– Нет, – резко оборвала его Милена, – нет, Тоник, говорю же тебе, это неудобно. К старому деду мы пойдём в другой раз, а сегодня пригласи меня к себе в гости. Я ведь не слепая, вижу, как ты следишь за мной, точно ястреб, дожидаясь добычи. Твой час настал, приглашай в гости, пока я не передумала. Пойдём к тебе, посидим, и ты мне расскажешь про своего деда.

– С удовольствием, Милена, с огромным удовольствием! – воскликнул Платон. – Но я ловлю тебя на слове, ты только что пообещала увидеться со мной ещё раз.

– Не валяй дурака, Тоник, – она уверенно посмотрела ему в лицо, – и не занимайся вымогательством. Ничего я тебе не обещала. – Это был уверенный спокойный тон хозяина, говорящего со слугой, но Платон опять ничего этого не заметил, или нарочно решил не замечать. Он торжествовал, как доверчивый лесничий, он почти праздновал победу, несмотря на слишком ощутимые перебои с дыханием. Ну и ладно, ну и чёрт с ним, пусть лесничий. В любви, как в азартной игре, как в тотализаторе, не существует классовых различий, в любви есть только победители и побеждённые.

XII

Спустя несколько часов, после пары бокалов неразбавленного тёплого виски, он держал её объятиях, покрывая бесчисленными поцелуями, которые разрастались, как шторм, и с каждой секундой только усиливались. Это был настоящий дождь, переходящий в ливень поцелуев на её равнодушных губах и безупречном теле. Платон порывисто дышал, задыхался, покрываясь холодным любовным потом, и не чувствовал, что обладает ею, словно он занимался любовью сам с собой, в одиночестве.

– Милена, сейчас ты была не со мной, – спустя некоторое время, когда шторм поутих, укоризненно сказал Платон. Она вежливо улыбнулась и рассеянно ответила:

– Я пыталась прокрутить третью сцену второго акта.

– Что-что ты сейчас пыталась сделать? – Платон оторопело смотрел на неё. Он удивился её безмятежности в то время, как в нём самом кипели страсти, и почувствовал обиду, почувствовал себя в уязвимом положении. Его слишком смутило небрежное спокойствие её тона. Как же так? Его глаза немного вздрагивали – так было всякий раз, когда он волновался.

– Послушай, Тоник, если ты не способен одновременно «делать это» в постели и думать о балете, тебе не место либо в балете, либо в постели. Если что-то мешает сцене, если что-то несовместимо с мыслями о ней, откажись немедленно...

– Мне не нравится, когда ты называешь мою любовь «делать это».

– Да не заводишься ты, мы говорим о разных вещах. Ты сейчас словно перегретый, дымящийся танк. Пойди прими душ, – она говорила слишком равнодушно, так говорят люди либо перенасытившиеся любовью, люди уставшие от неё, либо никогда её не знавшие. Платона это задело, ему хотелось подмешать в свой тон ноты иронии или даже цинизма, чтобы хоть как-то защититься, спрятаться в этом цинизме, но он знал, что сейчас ему это не удастся, сейчас всё слишком серьёзно для театральной игры, и он остался по-прежнему настоящим, незащищённо-искренним.

– А ведь ты даже не вспотела, Милена!

– На сцене с меня пот каждый день градом льёт.

– Значит, пот любви тебе неинтересен?

– Ничего это не значит, глупый, – довольно нервно сказала Милена, – а если у тебя от пары-тройки поцелуев вдруг голова закружилась, то я здесь ни при чём, – произнося всё это, она смотрела на него опять же как на постороннего человека. – Ладно, я устала, мне пора, завтра трудный день. Надо лечь пораньше спать, чтобы есть не хотелось. Только прошу тебя, ничего мне больше не говори. Твоя первобытная простота меня и так утомила.

Её слова его почти доконали, но он сделал над собой усилие, чтобы промолчать. Она была прекрасна до слёз, до бешенства, до кома в горле. Его глаза встретились с её насмехающимся, снисходительным взглядом. Она смотрела на него так, как смотрят любители ледяной проруби в сорокаградусный мороз на тщедушных слабаков, неспособных к ним присоединиться. Захотелось поцеловать её на прощание, дать ей понять, что его платоническое обожание, обретая сегодня вполне реальный физический вкус, теперь только усиливает его привязанность к ней. Но эта мысль на мгновение ужаснула даже его самого и наполнила отвращением. Кровь так быстро кинулась в голову, словно собиралась хлынуть фонтаном из ушей. А в ушах стоял звон, вероятно для того, чтобы он не мог расслышать, как громко она сейчас хлопнет дверью, но Милена ушла совсем тихо, аккуратно притворив её за собой. Поцеловать её он так и не посмел.

Подумать только, ещё несколько часов назад он был самым беззаботным мужчиной, способным верить в возможное счастье, мужчиной, у которого ещё всё впереди. Он, как последний глупец, был одурманен своими же фантазиями. А теперь «это» уже позади, оно произошло, оно случилось, и остались лишь тоска и злость, сшитые из мучительно-сладостных воспоминаний

о том, что только сейчас на его глазах так быстро сделалось прошлым. Зато он в очередной раз отчётливо понял: её единственное физическое влечение – это сцена. Хуже то, что Милена не сохранит ни о его сегодняшней любовной горячке, ни о своих незначущих мгновениях ни единого воспоминания, словно ничего у них и не было. Он так и не смог заразить её своей страстью. Или пока не смог? Как говорит его дед, самая разрушительная на свете человеческая беда – это неодолимая тяга обладать недоступным. Его мутило от этой мысли. Как там у классика: «Так не доставайся же ты никому». Фантазёр, однако, этот классик. Или нет, почему, собственно, фантазёр? Этот парень был не так уж неправ.

XIII

Утро выдалось пасмурным и холодным. Мельчайшие острые пылинки с моросью настойчиво осаждали воздух и делали краплёным пока ещё сухой асфальт. Художественный руководитель Вадим Петрович Лебешинский сегодня пришёл с запавшими белесоватыми щеками и нервно вздрагивающей верхней губой. Вадим Петрович стоял у дверей театра, в светло-коричневом кашемировом пальто со странным воротником из экзотического неведомого меха. Свободный узел его шейного платка украшал зелёный камень внушительных размеров, что говорило о... впрочем, совсем неважно, о чём это говорило. Стоял Вадим Петрович в одиночестве, докуривая первую за сегодняшнее утро сигарету. Он то и дело отворачивался от занудного ветра, налетающего одновременно со всех сторон, поднимая свой причудливый чебурашковский воротничок и пытаясь максимально, насколько это было возможно, в него спрятаться. Мимо Вадима Петровича, вежливо здороваясь, торопливо кланяясь, прячась от непогоды и не дожидаясь ответа руководства в его лице, проходили служители искусства и разный прочий театральный персонал. Люди входили в отворённую половину двойной деревянной двери со всё ещё сохранившимися старинными бронзовыми ручками. Вадим Лебешинский монотонно и скучно кивал головой куда-то в сторону или вслед, без всякого при этом выражения на лице. Так и стоял он, то прячась, то кивая, до тех пор, пока наконец не увидел приближающуюся статную мужскую фигуру Сержа Романовского, которая, как маяк, высилась и светилась над всей этой утренней суетой, отчего вздрагивающая верхняя губа Вадима Петровича превратилась в откровенно дрожащую.

– Доброе утро, Серж. Прекрасно выглядите, – первым, против обыкновения, против жестких правил иерархии, поздоровался Вадим Петрович, вызывающе и любопытно глядя на Сержа, делая при этом отвратительно-сладкие глазки.

– Доброе, доброе, Вадим Петрович, – нехотя отозвался Серж, не обращая внимание на любезный тон Лебешинского. Хоть Вадим Петрович и не сделал Сержу совершенно ничего дурного, однако Серж его слегка недолюбливал и не считал особенно нужным это скрывать. Романовский почему-то, непонятно почему, высоко ценил в мужчинах исключительно мужские качества, а не только рабочее вдохновение. Ценил, даже несмотря на то, что в себе самом он их искал-искал, но почти не находил. Может быть, именно поэтому-то он их тщательно выискивал у других, а не находя, искренне от этого огорчался. Серж вырос без отца, и именно этих самых мужских качеств ему-то как раз и не хватало в жизни.

Вадим Петрович Лебешинский, напротив, имел любящего отца. Вадим родился и вырос в театре, потому что был из артистической семьи. Его отец и дед долгие годы служили дирижёрами в академических театрах. Вадим обожал сцену, сходил с ума от радости, каждый день приходя на работу. И всё было бы неплохо, если бы его жизнь не была отягощена одним неприятным обстоятельством. Вадим был приверженцем любви небесного цвета, отчего жизнь его была давно и изрядно подпорчена. Однако все унижения, с которыми ему пришлось столкнуться, он переносил с мученической покорностью, на судьбу не роптал и внешне выглядел вполне спокойным, если не сказать уверенным в себе, однако внутри очень и очень переживал. Переживал, видя слишком часто на лицах людей какую-то неприязненную насмешливость, брезгливость, а то и отвращение. Люди вели себя странно по отношению к Вадиму, словно, постояв рядом с ним несколько минут, они имели шанс заразиться от него этой самой небесной любовью. И лишь в театре к нему все относились с искренним дружелюбием, в редких случаях с добродушным состраданием, приписывая все жизненные недоразумения Вадима Петровича прихотям его заблудшего рассудка, но уже без всякого осуждения и ужаса. В театре никто особенно не придавал значения его альковным предпочтениям, всем было не до этого. Только здесь он чувствовал себя защищённым, только здесь он был в безопасности, мог сме-

яться, шутить, только в этих старых стенах он имел возможность радоваться жизни. Сцена и закулисье были у него в крови, потому что здесь он был невиновен, а вот для реальной жизни Вадим Петрович создан не был, ибо там он чувствовал свою вину. Он был настоящим мечтателем, а театр – то самое место, где такому странному созданию и полагается находиться.

Войдя в вестибюль, всегда любивший женщин и только женщин, Серж Романовский был немного раздосадован этим утренним не в меру любезным приветствием руководства. Серж постоял на ступенях, поглядел по сторонам, словно кого-то отыскивал или делал вид что отыскивает, а потом, не оборачиваясь, быстро начал подниматься по лестнице из светлого камня с двумя солидными колоннами по краям. Вадиму Петровичу ничего не оставалось, как с тоскливой завистью посмотреть ему вслед и закурить ещё одну сигарету, чтобы освободить свою тяжелую голову от гнетущих дум и направить все свои силы на служение музам. С умным и грустным лицом он встал под навес крыши, дабы не подмочить, не испортить пальто (собственная репутация его сейчас не интересовала), оказавшись застигнутым налетающим дождём.

XIV

На лестничной площадке находилась всего одна дубовая дверь, весьма внушительных размеров. Перед ней неловко стояли Платон и Милена, как юные пионеры, собирающие макулатуру. Очень скоро эта самая внушительная дверь отворилась, а на пороге их встречал довольно старый мужчина, но ещё не дедушка, среднего роста, в пенсне. Одет он был просто и очень опрятно: брюки и свитер, поверх свитера – жилетка, в петлице болталась цепочка для часов. Мужчина пропустил «юных пионеров» в просторную переднюю с высоким потолком, тусклым светом и цветными олеографиями на стенах. С виду это был вовсе не старик, во всяком случае он не казался стариком из-за стройного сложения и несвойственной возрасту лёгкости движений. В нём сквозила какая-то врождённая эlegantность и изящество, и это либо есть, либо отсутствует. Милена моментально, и не без удовольствия, уловила схожесть деда с внуком, только у Платона это было изящество молодого человека, а у старого Кантора оно казалось ещё более облагороженным пережитыми годами. Дед и внук стиснули руки друг друга крепким мужским пожатием.

– Рад приветствовать столь юную фройляйн в своей скромной обители, – жизнерадостно сказал дед, впуская молодых людей в просторную переднюю.

– Познакомься дед – это Милена, моя..., ну, в общем, это Милена, дед, – смутился Платон, – а это, Милена, мой дед, Пётр Александрович Кантор.

Старый Кантор почтительно кивнул, предварительно заложив за спину правую руку.

– О, вас наделили прекрасным старославянским именем, оно происходит от «милая». Вы, фройляйн, придаёте значение именам?

– Нет, меня это несколько не увлекает. А что, вы и впрямь находите его прекрасным? – от удовольствия она даже засмеялась.

– О да! Можете не сомневаться. Прошу, молодые люди, прошу, проходите в буфетную, сейчас я приготовлю специально для вас замечательный германский напиток радлер⁷, и, надеюсь, он придётся вам по вкусу, – с живостью говорил дед.

Пройдя по квартире до соседней двери, Платон и Милена опустились на стулья с высокими спинками, за большим овальным столом чёрного дерева в довольно просторной комнате, которую старый дед всегда, сколько помнил себя Платон, называл буфетной. Здесь действительно стояли два старинных резных буфета, с потёртыми дагеротипами в деревянных рамках и прочими безделушками зитцендорфского фарфора, а также аккуратно сложенные стопкой газеты и несколько пачек сигарет. Между буфетами висели массивные часы с боем, которые на первый взгляд показались Милене давно отжившими свой век. Остальные стены занимали высокие стеллажи с книгами, упирающиеся в потолок, и два огромных окна без портьер размером с двери, через которые сочился вечерний городской свет с неподвижной прохладой в воздухе.

Видно было, что Милене хочется по привычке казаться хладнокровной, но из этого ничего не выходило, и она, как загипнотизированная, смотрела на деда во все глаза. Он нравился ей всё больше и больше своим неотразимым очарованием простоты и обаяния. Её увлекали такие мужчины. «Будь он помоложе, я бы в него сразу влюбилась», – подумала Милена и вдруг, переведя глаза на Платона, увидела точную копию деда, только молодую. Это была копия с головой такой же прекрасной формы, редкостным прирождённым изяществом, лучистыми глазами и красотой открытого лица, только здесь годы ещё не успели оставить белый

⁷ Radler (нем.) – традиционный и очень популярный в Германии слабоалкогольный коктейль, приготовленный из пива и лимонада.

след на висках да прорезать щёки глубокими морщинами. Это было и неприятно и неожиданно, потому что она не собиралась открывать в Платоне все эти прелести.

Милена молчала, чтобы после такого открытия прийти в себя. Мужчины заулыбались, понимающе переглянувшись. Старый Кантор принялся колдовать с бутылками у одного из древних буфетов.

– Сейчас вы, юная фройля, отведаете сочетание пивной горечи с фруктовыми ароматами в моём исполнении. Только прошу вас, не считайте меня заранее сумасшедшим. В Германии с начала прошлого века, если не ошибаюсь с двадцатых годов, этот напиток не знает себе равных. У него поистине мистическое значение, он, знаете ли, располагает к откровенности. Скоро вы в этом убедитесь, потому что всё о себе расскажете, хотя и не планируете.

– О, боюсь, мне это не грозит, – пококетничала Милена.

– Дед категорически не приемлет телевизора, считает его вульгарностью, не говоря уже о компьютерах и прочей современной... э...

– Ты несколько преувеличиваешь моё отшельничество. Просто я стал слишком э... взрослым для пустой суеты.

– Ну, в общем, современным средствам связи он предпочитает тишину и полумрак, и, конечно же, живую беседу.

– А о чём мы будем беседовать? – не сдержалась Милена.

– Только, дед, прошу тебя, не о философии, – умоляюще сказал Платон. Он знал широту интересов своего деда и с горечью понимал, что ни философией, ни баховскими клавирами концертами современную девушку в постель не уложишь. Это же мысль очевидная. А кроме постели его сейчас мало что интересовало.

– Отчего же нет? – спросила Милена, – Это должно быть очень интересно.

– Какой толк в философии? – слегка раздражился Платон, и тут же понял, что поступил опрометчиво. Сейчас дед его заклюёт.

– А какой толк в живописи, мой мальчик, в музыке, балете? – спокойно отозвался старый Кантор, ставя перед молодыми людьми высокие стаканы, наполненные запотевшей тёмной жидкостью с тонкими дольками лимона на поверхности.

– Художники и композиторы украшают жизнь, улучшают её, а все эти твои изворотливые болтуны только осложняют её и запутывают! – всерьёз начал кипятиться Платон, боясь, как бы дед не утомил Милену. – Ну вот скажи, дед, что создают философы? Тяжкие раздумья?

– Твои выводы относительно философии несколько преждевременны, мой мальчик, – спокойно сказал Пётр Кантор, наливая солидную порцию радлера теперь уже для себя. – А впредь попрошу не раздражаться и не учить старого деда. Я ещё не выжил из ума окончательно и отлично помню, о чём следует говорить с молодыми и красивыми женщинами. Так вот, с такой прекрасной девственной Артемидой говорить полагается исключительно о любви! Надеюсь, эта обязанность уже перешла тебе по наследству, юноша.

– Час от часу не легче. Дед, ты бредишь? – Платон нерешительно закашлял, испугавшись желания старика выглядеть перед Миленой паладином на коне. Ему захотелось взять газету с буфета и спрятаться за ней, как он это неоднократно проделывал в детстве.

– Напротив, мой мальчик, я мыслю предельно ясно. Или ты перестал доверять своему старому деду? Разговоры о вечной любви – это удивительный фимиам из наслаждения и опасности, это волнение и неподдельный интерес. Или я всё позабыл?

Милена не без удовольствия наблюдала эту лёгкую перепалку двух поколений. Ей пришёлся по вкусу странный пивной коктейль под названием радлер, приятно будоражащий голову и расслабляющий её перегруженное репетициями напряжённое тело. Ей даже показалось, что она на несколько минут позабыла о занавесе и сцене с собственным участием, что случалось крайне редко.

– Вечная любовь? – с запозданием встрепенулась Милена. – Сейчас все кому не лень берутся утверждать, что в реальном мире любовь живёт три года, или что-то около того. Это такой закон современного мира, современных людей, а любить более трёх лет старомодно. – Её голос звучал против обыкновения неподдельно весело, кажется, она была довольна, и у Платона сразу же отлегло от сердца.

– Законы, относящиеся к миру людей, юная фройляйн, увы, совершенно ненадёжны, как и собственно весь их мир, – осторожно, с едва заметной улыбкой сказал старый Кантор. – Я в этом смысле целиком и полностью согласен с Эйнштейном, который говорил: «Законы математики, имеющие какое-либо отношение к реальному миру, ненадёжны, а надёжные математические законы не имеют отношения к реальному миру». К сожалению или к счастью, но это так.

– Я тоже слышал именно о таком сроке – три года, отведённом для любви, – Платон, как мог, пытался поддержать светскую беседу.

– Эта новомодная мысль, ребятки, пришлась по вкусу как раз тому, кто и сам так считает, кому неведомо глубокое чувство. Подумайте только, ведь ежедневно, ежечасно мимо нас проходит огромное количество самой разнообразной информации, но застревает именно та, которая нас наиболее интересует, которая укладывается, так сказать, в наше мировоззрение. А вот мне, например, как человеку крайне несовременному, наиболее симпатичны людские чувства, непохожие на все эти кратковременные осадки, и именно они оседают в моей старческой памяти. Я даже готов поделиться с вами, мои юные друзья, историей любви одного философа, любви длиной в пятьдесят лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.